

**С**олнечным майским утром быть грустным и подавленным трудно, даже придя на кладбище. Какая там грусть, сама природа ее отменила. Природа повелела восторгаться жизнью и вгрызаться в нее, как вгрызаются в натертое до хрустального блеска небо молодые остренькие листочки за кладбищенской стеной. Так что никакой грусти, особенно если пришел сюда работать и это первый рабочий день на главном кладбище главного южного города. Повода для подавленности нет, потому что пришел раньше назначенного времени, смотришь на бодро гудящую улицу и спокойно докуриваешь у центральных ворот, не осмеливаясь входить с горячей сигаретой, словно это оскорбит царство мертвых и персонально Аида, безжалостней коего нет никого среди богов.

Сигарета докурена. Ворота позади, вместе с ними — невидимая черта, отделившая прошлое от того, что сейчас. С конца аллеи, посеченной вытянутыми тенями крестов и веток, медленным кораблем наплывала церковь. Купол высился сверкающей короной, оставляя за собой внизу торжественную прическу разбухшего от переизбытка весны одинокого облака. Энергичные звуки улицы за спиной ушли в ноль, будто их убавили с пульта. Салют восторга перед застывшим взрывом зелени быстро сменился сдержанной радостью, словно мерцающей в утреннем свете; ее, как кисель, хотелось медленно пить глоточками из большой чашки. С правой стороны церкви показались строительные леса. Не по-весеннему бледный и медлительный Сергей махнул мне сверху, заулыбался, неспешно

слез. Поздоровался — ладонь шершава от засохшей краски, футболка в ней же. Ближайшие несколько месяцев мне предстоит трудиться здесь под его началом. Трудиться и постараться не сдохнуть.

— Ну, как тебе здесь? Чудесно, правда? — Он развел обращенные к небу ладони; одна указывала на церковь, другая — на могилы.

Да, здесь без вариантов чудесно, по крайней мере, в начале мая, когда Деметра радуется встрече с Персефоной. Радость встречи — она прекрасна, но мы-то знаем, что пирушка по этому поводу затянется и скоро превратится черт знает во что, но до этого еще месяца полтора. Сергей хлопнул меня по плечу и заверил, что все у меня получится, сначала будет трудновато — после моих офисов-то, но надо же в жизни что-то менять. Ну да, надо, наверное.

Работа предстояла понятная и вроде простая, а главное — на воздухе. Нужно очистить снаружи от старого слоя две стены церкви, отшпаклевать их и покрасить. Чтобы было как сначала, в общем, отреставрировать. Реставрация — это звучит. А да, еще нужно будет разобрать и собрать леса для второй стены. Четырех с копейками месяцев хватит с головой.

— С головой, — повторил он и чиркнул ладонью у шеи, что вообще-то значит «по горло», а не «с головой». — А вот, кстати, и наш настоятель, поздоровайся. — Он махнул ладонью куда-то на стволы деревьев.

От одного из стволов, лишенного веток и листьев, подрезанного сверху, как под линейку, ножницами,

отделилась фигура и зашагала к нам смешной походкой старого пингвина. Крест на груди покаялывал солнечными иглами. Отец Николай. Улыбка, неожиданно красный нос, голос слабый-слабый, один глаз зачем-то прищуренный, будто застыл в подмигивании. Протянул руку так, чтобы стало понятно — пожать, а не поцеловать. Весь его вид говорил о том, что понапрасну напрягать людей он не привык. Нормальный вообще батюшка, такой не может не понравиться. Сказал, что все нужно закончить к четвертому октября — дню памяти святого Димитрия Ростовского, в честь которого и названа церковь. В этот день пройдет праздничное богослужение, которое посетит сам митрополит. Сам митрополит!

— Четвертое октября — это дедайн. — Отец Николай медленно провел ладонью невидимую не совсем ровную линию.

А еще он добавил, что жалко делать глупую работу — зимой все равно фасад начнет сыпаться.

Зимой фасад начнет сыпаться? Я посмотрел на Сергея. Он объяснил, что с прошлого года с фасадом работали другие люди — левая какая-то бригада. Они разбили стену до голого камня, а дальше стали все делать совсем-совсем неправильно. Наша задача — очистить то, что они начали делать неправильно, и закончить правильно. Но до голого камня не получится — слишком долго. Поэтому нужно по минимуму зашкурить верхний слой, загрунтовать, зашпаклевать и, собственно, покрасить. До зимы должно простоять, а потом по-любому посыпется, по-любому.

— По-любому? — вопросительно повторил я; звучало, видимо, глуповато.

Да, чуда здесь точно не будет, посыпется. «Это так же верно, как то, что сухой клен больше не зацветет», — сказал отец Николай и посмотрел на обрезанное дерево, от которого отошел минуту назад.

— Работайте с Богом. — Улыбнувшись, он перекрестил нас круговым движением и, плавно переваливаясь, медленно уплыл.

Славный батюшка, на Жижека чем-то похож, только не такой дерганый и нудный. Жалко, что посыпется, а чудо все равно будет, но какое?

— Ну что, переодевайся — и полезли. — Сергей повел подбородком в сторону строительных лесов.

Леса были кривые, ржавые и какие-то все ободранные, похожие на только что выкопанный скелет. Доски через одну, перил и лестницы не было. Шесть ярусов. Чтобы подняться, приходилось подтягиваться. Балки и доски скрипели издевательским смехом сказочной нечисти из старых детских фильмов. С каждым новым ярусом конструкция раскачивалась все больше, как Советский Союз после двадцать седьмого съезда. Наверху был где-то девяносто первый год — весна, наверное.

Верхний ярус, я в колючей робе, ведерко. Передо мной стена церквы и неизвестность, сзади — почти сорок лет жизни и потрясающий, как ноктюрны Шопена, вид на северное крыло кладбища,верху небо и бесконечность, внизу люди и могилы. Стена твердая, небо пустое, туда указывали заостренные концы черных балок, мечта о колесах, воронах и черепах. В ведрке лежали шпатель, скребок, щетка, молоток и страховочный пояс с тяжелой цепью, на конце которой болтался жуткий, похожий на пыточный инструмент карабин. В ногах и животе вспыхивала паутина легкости, как в детстве на качелях. Как я мог тогда часами вот так гойдать? Скребок, щетка, качка, страховочный пояс. Главное — это страховочный пояс, понял я очень быстро, все остальное второстепенно. Сначала я пытался представить, что это не леса раскачиваются, а церковь. Просто застоялась и решила размяться, такое, наверное, может быть, логично же. К полудню я полностью убедил себя в этом.

Во время обеда выяснилось, что забраться на верхний ярус можно, не мучительно втягивая себя вверх и вспоминая юность на турниках, а просто изнутри церкви — выбравшись через широкое окно просторного зала. Это многое решало, это было почти счастье. В зале тоже был ремонт, а раньше здесь работала воскресная школа и репетировали певчие. Шкафы с книгами, истосковавшееся по вниманию черное пианино, под ним в углу прятался бюст то ли Сенеки, то ли Гомера. Ремонт в зале, впрочем, с недавнего времени застыл, все силы кинули на стены. Теперь это место оккупировали мы — строители, варвары; и мы будем беспощадны к античности вообще и к Риму в частности. Теперь в зале все спало, укрывшись белой шпаклевочной пылью. И если бывалым толстокожим сумкам, мешкам и ведрам пыль была побоку, то пианино выглядело грустным и даже больным, его, конечно, нужно было бы протереть, но потом как-нибудь.

Пообедав, Сергей таки протер пианино, сел, деловито открыл крышку и сразу начал играть какую-то сонату, вроде бы Баха. Не Баха, а Генделя, как потом я узнал, сразу покраснев, и не сонату, а сюиту. Выпятив губу, Сергей закрыл крышку. Теперь нужно было лезть в окно, за которым меня ожидали застывшие волны листвы и качка шестого яруса. За окно не хотелось, хотелось еще чаю — от еще одной чашки мир не провалился бы, а если бы и провалился, то тем даже лучше, наверное.

Снова ведро. Для начала страховочный пояс, цепью соединяющийся с балкой. Терка. Теркой нужно тереть, тереть и тереть. «Еще-еще», — выскребывала наждачка. Теркой нужно делать вверх-вниз или вправо-влево, главное, чтобы из-под наждачки несколько

часов в день выходило это жуткое «еще-еще», а вертикальное оно будет или горизонтальное — не важно. Терка словно ожила и сама водила руками, доски кряхтели, балки стонали, внизу иногда слышалось тархтение дырчика, стена раскачивалась из стороны в сторону, небо спало.

Усталость пришла гораздо раньше, чем я ожидал. Как я здесь оказался? Революция, война, эвфемизированная в антитеррористическую операцию, сокращение штатов, стремительно схлопнувшийся рынок труда, урчащий живот, склады, мешки, ящики. Потом официальные настоятельные стуки в дверь, военкоматовские раздутые лица в глазке, предупреждение об уголовной ответственности за уклонизм. И лицо моей Зои, которая так мастерски скрывает свое ко мне презрение. Потом звонок Сергея и приглашение помочь ему с ремонтом замечательного храма в умопомрачительно красивом месте. Не обманул — все очень замечательно, умопомрачительно и красиво, нет — в самом деле. Я думал о том, что если доживу до конца дня, то начну искать себе что-то привычное, связанное с яростно-белыми офисными стенами, отзвучившими мониторами и упитанными креслами с удобной регулировкой высоты сидения. И что это просто сейчас полоса жизни такая — левая, корявая и серая, как небритый и вечно опухший жэковский водопроводчик. И что эта неправильная левая полоса исчезнет и будет новая, в которой закончится эта война с ее мобилизацией, цены и коммунальные тарифы пойдут вниз, и что наконец-то жизнь, как стена передо мной, качнется вправо, качнувшись влево. А пока строительная пыль, и эта въедливая ракообразная ржавчина под кожей, на руках и в спине. Ночью все это превратилось в боль. Особенно в кистях рук и предплечьях, там вообще прикипело все — теперь терка и даже ножовка не помогут, теперь только турбинкой резать, потом зачищать. Утром боль взорвалась колючей проволокой, мешала нагибаться и быстро двигаться.

Опять леса. Ведерко, терка, шпатель, страховочный полис, ой, пояс, пояс, конечно. Цепь, карабин. Пристегнулся — сам себя приковал цепью. В древности цепью приковывали рабов, трудились тогда только рабы. Они были только из числа плененных на войне инородцев, а труд был отсроченной смертью военнопленного. Труд и есть смерть. Сейчас я начну тереть и стану мертвецом. Начали. К скрипу балок добавился скрип суставов — по крайней мере, казалось, что суставы должны теперь скрипеть. Боль пульсировала, распускаясь ржавым цветком, розой, наверное. Бросил терку в ведро, вытер лоб ладонью, посмотрел на ладони, оглянулся на могилы, поднял голову, всматриваясь в накалившуюся пустыню неба. Те, кто в могилах, — они там? Какое там мо-

жет быть спасение, там же ничего живого не осталось. Эдем спален, остались только идеи. Мы не изгнаны, мы сбежали и теперь ищем пристанища у Аида, особенно сейчас, когда Персефона его покинула, пьет с подругами и еще черт знает с кем, и за ее выходками в ужасе наблюдает во все навывкате глаза Феб сребролукий.

Сергей теперь часто играл на пианино. Доиграв, он осторожно закрывал крышку, допивал чай, отряхивал зачем-то ладони, и мы лезли через окно. Кряхтел я, кряхтели доски, скрипели балки, шуршала наждачка, тархтел дырчик внизу, неся на себе хмурого, всегда в замусоленной вязаной шапочке и с папиросой в углу лягушачьего рта кладбищенского подсобника Филипыча, официально оформленного землекопом. Все утра так и начинались — с чая и пианино, ожидавшего нас с плохо скрываемым нетерпением. Пока как-то в дверях не показались двое рослых работяг со скуластыми, как сжатые кулаки, лицами. Рослые, осматриваясь и раскачивая пространство плечами-коромыслами, вразвалку вышли на середину зала, заполнив, казалось, половину помещения. Им бы бушлаты, бескозырки и красные повязки на рукава, — кто здесь временные? Поздоровались. Оказалось, это оконщики, пришли работать, прямо вот сейчас. Совсем скоро замелькали монтировки, все заполнилось треском старых деревянных окон, казавшихся такими основательными. Я так и остался сидеть с чашкой, не убирая ноги с табуретки (кажется, у меня был открыт рот). Сергей стоял, засунув ладони в задние карманы брюк, играя желваками и широко расставив ноги, беззвучно тонул взглядом в небо за рушившимися и казавшимися раньше почти вечными деревянными ставнями. Теперь уже мы были римлянами, а оконщики варварами, — такая вот грустная диалектика. Римляне так же наблюдали за бесчинствами воинов Алариха? И о чем думали — о том, что предкам-троянкам было хуже? Через часа два матросы-варвары исчезли. Помимо новых окон, из бездушного металлопластика появились и решетки — черные, пахнущие этой своей масляно-железной свежестью. Это значило, что теперь на верхний ярус через окно не получится, получится только снизу по балкам, превращаясь самому в шевелящуюся железяку, и не дай боже что-то забыть внизу. Но я забывал, и нередко. Отец Николай, проходя мимо стены, поднимал голову, щурился, высматривая обновку, улыбался. Чем были плохи деревянные окна? Почему люди так любят усложнять себе жизнь? Ладно себе, а другим? Теперь в зале оставаться не было смысла, и чтобы не подниматься лишний раз через жужжащий затхлый полумрак по винтовой лестнице наверх, мы с Сергеем переселились в подвал. Там, правда, запах был еще более затхлый, плюс похожие на следы ги-

гантских улиток сверкающие потеки на стенах, зато прохладно да и к Аиду поближе.

Теперь пианино закончилось — не до него. Зато появились напарники — двое плиточников с Буковины, работавших внизу. Они ремонтировали крыльцо перед главным входом — этот вход вроде бы называется папертью, но такого слова я там не слышал ни разу. Наверное, потому что на паперти сидят нищие, а у входа в нашу церковь нищих не было. Нищие разместились на центральной аллее. Их было немного — человек десять, всегда одни и те же: с раздутыми, словно после тщательной проварки, лицами, тихо-голосые, медленные, аккуратные, смиренные. Иногда кто-то из них, виновато пошатываясь, растворялся среди могил и надрывно раскатисто блевал, вызывая в памяти гневный львиный рык, обращенный к разрушителю границ прайда. Они появлялись каждый день к девяти, то есть на час позже меня. А работяги с Буковины начинали работу еще раньше, до восьми, что вообще-то было прямым нарушением государственных строительных нормативов, но кесарева власть здесь работала плохо. Вася и Толя. Вася был похож на ворона: клювастая голова и длинные жилистые руки-крылья. И говорил он по-вороньи: короткими рваными фразами, будто каркая. Толя напоминал тюленя в майке, только вместо тюленьей морды было улыбающееся лицо Аполлинера и сигарета в зубах. Вместе с ними появились молотобойный грохот, пыль и рев турбинки, вызывавший воспоминания об ужасных школьных походах в советскую зуборвалку. Эти звуки нервировали людей, листву, небо, Персефону и уже даже Аида. Но все были бессильны перед законом, навязанным плиточниками. Даже раскаленный от злобы Феб ничего не мог поделаться с ними; его стрелы застревали в их пыльных кучерявых волосах.

Обедали мы вместе на скамейках в глубине могил у старого камня со стертой надписью: из всех букв различима была только «ять» в конце фамилии. Из-за веток выглядывал понурый женоподобный ангел, почти не тронутый временем и, судя по всему, бессмертный, как и все ангелы. Сначала приходили мы с Сергеем, прихватив с собой свои банки, ложки, кофе, воспоминания о школе и впечатления о прочитанных за всю жизнь книгах. Вася и Толя всегда слегка опаздывали. Сначала, услышав наши литературоцентричные разговоры, они в ужасе сбрасывали улыбки, но за несколько дней попривыкли и вскоре бодро щебетали о своем. Общие темы для разговора тоже находились, и касались они не только ремонтных работ.

Каждое утро я прыгал в маршрутку, она раздраженно дергалась, усаживая меня. Выходил через две остановки, натянулся взглядом на объявления, при-

клеенные к прозрачному залапанному пластику основного павильона: куплю волосы, продам диван, окажу щедрые услуги за скромные вливания. Шел через запущенный густой сквер со множеством ведущих в одну сторону тропинок, переходил ревущую раскаленную улицу и докуривал перед воротами, по-прежнему не осмеливаясь входить с зажженной сигаретой. Смотрел через просвечивающиеся на солнце лопасти каштана в переполненное весной небо, которое, казалось, вот-вот вспыхнет и явит что-то абсолютно новое — великое, простое и безгрешное. Выдыхая дым последней затяжки, нырял за ворота и улыбался надписи на табличке, где администрация настоятельно просила уважаемых граждан скорбящих не сорить и не буянить. Подрагиванием хвостиков меня встречала стайка поджарых кладбищенских собак, самая приветливая из них остромордым профилем напоминала Анубиса; я так ее и прозвал, даже не поставив вопрос о поле псины (подозреваю, это было упущением). Потом лез с инструментами на леса и начинал шуметь — шуметь на стройке обязательно, без этого никак, чем больше шума, тем больше уважения к работе. Когда уставал тереть стену, останавливался, кидал терку или шпатель на дно ведерка — так чтобы звучало крупно и тяжело — и смотрел вниз, скользя по оградкам в павлиньих кустарниках барбариса и сирени, одергивая взгляд от огромного бесстыжего пятна внизу мусорного контейнера; оно было в характерных разводах, казалось, никогда полностью не засыхало и назойливо вызывало в памяти кричащую фигуру с картины Мунка. Обожженные кричащим пятном, глаза натянулись на выглядывавшего из-за листьев гранитного женоподобного ангела. Он все настойчивее вызывал мысли, заставлявшие краснеть, отворачиваться обратно к стене, снова браться за терку и убеждать себя, что все нормально, что ангел хоть и беспол, но все-таки он скорее женщина, чем мужчина, ну так ведь? Иногда закуривал прямо на лесах, задавая себе вопрос, почему на стене храма могу курить, а зайти с зажженной сигаретой через кладбищенские ворота что-то мешает. Что — Аид разгневется? И что — не примет меня к себе, не даст умереть? Или устроит после смерти вторую жизнь и заставит в муках выплачивать долг по коммуналке?

Реставрация медленно спускалась к нижним ярусам. Медленно — это из-за меня. Сергей постоянно корил меня за то, что я слишком тщательно сдираю старый слой. До камня абсолютно все очистить, говорил, не хватит времени, поэтому нужно сдирать только там, где сдирается, — самый верхний слой, а я углубляюсь, только зря трачу силы и торможу работу. Я кивал, говорил, что все понял, он качал головой, дивясь неофитской ненужной старательности. Стало жарче, но в середине июня несколько дней дул ве-

тер. Он сдувал в сторону пыль, успокаивал, проникая за воротник робы, укачивал ветки. Небо скользило, облака смывало, как архипелаг вселенским потоком, тянуло над пригибавшимися деревьями, которые безуспешно пытались вытянуть через голову свои еще неразношенные июньские платья. Я привыкал к новой работе. Получалось. Не пить тоже получалось, пока не познакомился с рабочими из администрации кладбища. Никто никого не спаивал и не уговаривал, даже знакомиться особо никто ни с кем не хотел — просто дул этот ветер, я находил его необыкновенным и поразительным. Филипыч, Жорик, Аркан. Скамейка, бутылка, норовящие прыгнуть в кусты пустые пластмассовые стаканчики, бугристые и серые, как вымерзшая земля, лица, булькающие и хрипящие ошеломительные истории. Гитара, «Моторхэд» под кошачьи вопли, счастье. Потом обсуждали голландский чемпионат. Аркан с Филипычем спорили о том, кому достанется спецовка, оставшаяся от какого-то умершего недавно работяги — Петюни, потом кляли укропов, особенно Аркан. Укропы — недолюди, сжигать их, как они наших, только в десять, в сто раз больше, вместе с их флагами, детьми и мовой. Хрен они Донецк возьмут, а если и возьмут, то такого, блин, коня троянского получают — данайцы бесчестные, войском своим возжелавшие гордых сынов Илиона сломить. Убивать их пачками и запретить хоронить и рыдать над ними, одежду разрывая и посыпая волосы землей, а тех, кто дерзновенно сей запрет нарушит... А? Чего не пошел на войну? На фиг надо, тем более что у нас здесь вот-вот тоже начнется, вот увидишь, через полгода — минимум — здесь уже будет другая страна и другие люди. А вообще я и так на кладбище каждый день воюю. Здесь моя линия обороны, и ее нужно держать намертво. От кого? От всей этой суеты. Красоту эту оборонять — могилы, церковь, Филатова. Ты посмотри, какая здесь красота, жалко, что хоронят совсем уже мало — местов нет.

Места были только для тех, у кого здесь родственники и еще чуть-чуть возле стены, а там желающих было мало. Ну, еще бесхозы, но это дело такое. А, ну еще, конечно, возле церкви были места, только это территория храма, а настоятель, падла, против, прохрипел чуть позже Филипыч и показал только что опорожненным стаканчиком на колокольню, удивленно и хмуро глядевшую на нас из-за балбесничавших на ветру листьев вяза. Сказал, что территорию возле церкви укомплектовать можно было бы вообще легко, особенно возле контейнера со строительным мусором, где это сухое обскубанное дерево. Весь вопрос, короче, в настоятеле. Вот если бы его уговорить — это было бы чудо, просто чудо. Но уговорить ни у кого не получается. Филипыч намекнул, что если у меня получится, то даст двадцать долларов с могилы.

Чудо. Это и должно стать чудом? Я вспомнил, как бабушка в первый мой день работы сказала, что чуда здесь не будет, а я еще подумал, что будет. Но такие чудеса мне точно не нужны. Решил для себя даже не подходить к отцу Николаю с этой темой — и так все здесь понятно. Но, увидев его на следующее утро возле того самого сухого дерева, бросил в рот жвачку, пошел, громко выкашлялся и завел не выспавшимся лохматым голосом этот глупый разговор. Он, не дослушав, показал ладонью на могилы, потом на бордюр и провел медленную дрожащую линию:

— Этот бордюр — это мертвая линия. Здесь заканчивается царство Аида.

Я сказал, что место же вроде есть, да и желающих, так сказать, хватает и... Отец Николай улыбнулся, оттопырил указательный палец. Понятно — сейчас будет шутить. Точно. Сказал, что спрос на землю здесь большой, да-а, самые лучшие инвестиции — в жизнь вечную. И показал тем самым заранее подготовленным оттопыренным пальцем вверх, где расшатанные ветром верхушки вязов натирала листьями и без того блестящее стеклянистое небо. Я вздохнул, покусывая губу, полез на леса. Понятно все. Лучшее вложение денег — это закопать их, что то же самое, что пустить на ветер. И надеяться, что в вечной жизни они отобьются с многократной прибылью. Капитализм, получается, проник и на небеса. Или он всегда там был, а люди просто переняли небесный закон? Жизнь-смерть-жизнь. Деньги-товар-деньги. Смерть — это товар, что ли? Хороший товар — бесплатный и гарантированный. И заплатить за него нужно жизнью. Может, смерть — это все-таки денежный эквивалент, а товар — это жизнь?

Отец Николай приезжал и уезжал в переполненном трамвае в обычной мирской одежде: сандалии, брюки, рубашка. В руке мерно покачивалась неизменная с виду пустая хозяйственная сумка, что делало из него обычного неприметного дедулю. Иногда он бродил среди могил, растворяясь в крестах и ветках. Часто шутил. Нередко от него исходил легкий сладковатый запах вина; мне предлагал, я почти не отказывался. Улыбаясь, постоянно напоминал о дедлайне, — четвертое октября, хлопцы. Филипыч сказал, что это он боится облажаться перед митрополитом, который посетит торжественное богослужение. Но нет, Филипыч, тут другое. Что-то, чего и сам настоятель, быть может, и не осознавал. Просто так надо, и все! Как-то пригласил меня к себе внутрь — в трапезную, что ли, — рассказывал о жизни, показывал фотографии. Вот он в рясе с такими же бородами серьезными мужичками. Вот в форме и с автоматом. Больше всего запомнилось групповое фото юношеской баскетбольной команды, где отец Николай — тогда еще

обычный мальчишка — самый низкорослый из всех и единственный, кто улыбается. Как молодой радостный клен среди рослых угрюмых тополей. Было непонятно, выиграла команда или проиграла. В вытянутых вверх похожих на молодые ветки нелепых тинейджерских руках маленького отца Николая застыл оранжевым солнцем баскетбольный мяч. Он явно победил.

Кроме настоятеля, в церковь каждый день приходил крупнолицый молчаливый пономарь Дмитрич и помогавшие по хозяйству еще более молчаливые женщины без возраста — Рая и Люба. Их запеленутые в косянки простые бесстрастные и, естественно, бледные лица вызывали в памяти грубоватые женские образы с картин художников раннего возрождения. У них в руках постоянно что-то было: веники, ведра, швабры или похожие на дохлых бродячих животных мокрые тряпки. Познакомился я с кладбищенскими нищими. Упрямо похожий на Есенина кудрявый моложавый бож Леха, стрельнув у меня сигарету, рассказывал невероятные истории про местные привидения и таинственные исчезновения людей. Были еще два человека, которые приходили на кладбище каждый день. Одним из них был профессорского вида пожилой незнакомец. Седые борода и усы, очки, пиджак, ермолка какая-то старомодная. В один из первых дней моей новой работы я встретил его, проходя через сквер и думая об ожидающих через несколько минут стаканчике кофе с сигаретой и последующих мучениях на лесах. Он, появившись неожиданно сбоку, спросил меня, какая из тропинок ведет на кладбище. Учтывая, что сквер находится прямо перед кладбищем и все тропинки ведут в ту сторону, я, не раздумывая, бросил через плечо:

— Все дороги ведут на кладбище.

Только через несколько секунд я понял, что сказал. Ну да, это в юности кажется, что жизнь раскинулась деревом из дорог, а потом все эти дороги, оказывается, сходятся. Оглянулся, но мужчины с профессорской бородачкой нигде не было. Потом я видел его, когда мучился на лесах; он стоял внизу и смотрел в мою сторону. Потом на следующий день он промелькнул среди могил. Выходило, что он приходил сюда ежедневно. И вряд ли первый раз был тогда, когда он спросил меня о дороге на кладбище. Зачем же он меня тогда спросил об этом?

А еще каждый день сюда приходила женщина с тихим молчаливым мальчиком лет десяти. Статная, высокая, чем-то на Джулию Робертс похожа, только помоложе. Туго намотанный на голову рыжеватый платок, длинное простецкое платье, сандалии, сумочка невзрачная. Слишком молодая и опрятная для нищенки и чересчур простоватая для обычной посетительницы кладбища, тем более что обычные посе-

тительницы, получается, каждый день сюда не ходят, в общем, нет здесь обычных посетительниц. Я представлял себе могилу мужа-командора, которому она дала обет... какой-то, короче, обет, а теперь держит его, вот. Но для женщины, держащей обет, у нее был слишком плотоядный взгляд. Женщина-загадка, да-а.

Старый слой отходил по-разному. Ближе к правому углу он нехотя отваливался большими объемными кусками; падая, они разбивались и были похожи на комья земли. С колонн и карнизов штукатурка нудно и лениво осыпалась белой пылью, ложась на асфальт кучкой грязноватого, словно уже лежалого снега. А слева слой отходил бодро, с готовностью, игриво щелкал и весело отлетал плоскими почти одинаковыми пластинками — белыми снаружи и серебристыми с тыльной стороны, как подснежные листья тополя. Внизу все это лежало тремя почти несмешанными неодинаковыми кучами — земли, снега и листьев. Три кучи — вроде бы ничего особенного, но я искал в этом мистический смысл. Этот смысл прояснился, когда как-то вечером мы пошли с Филипычем и Арканом за очередной бутылкой (в итоге взяли сразу две) и я все про эти кучи понял — вот все-все. А к утру все забыл.

Ходили за бутылкой мы обычно все вместе — в этом было что-то очень правильное. И во время таких походов Филипыч и Аркан на время забывали свой принципиальный спор о судьбе комбинезона благородного и легендарного ныне покойного Петюни (спор был обстоятельный и нудный, словно речь шла о доспехах Ахилла, а не о грязной спецовке). Во время таких походов возникали самые искренние и правильные мысли. Один раз, когда мы уже взяли бутылку и шли назад, я вдруг понял, что мне нужно жениться на Любе или Рае. Как зачем? Чтобы стать таким же средневековым персонажем. Это будет волшебно, мы... Да ты гонишь, накинудись на меня мужики, что в тех средних веках хорошего? Голод, небритые бабские ноги, атаки исламистов, преследования инакомыслящих, сожжения на кострах, войны. Средние века, блин! Скажи еще — античность. Хорошо там, где нас нет, особенно в прошлом.

Отец Николай подарил мне книгу о храме. В тридцатых церковь хотели разрушить, ее спас офтальмолог Филатов, его могила находилась напротив входа в храм. Я вдруг понял, что именно на него до ужаса похож таинственный незнакомец, появляющийся здесь каждый день. Те же усы и борода, очки и академическая ермолка. Интересной был личностью Филатов, сейчас таких уже не делают. Говорил, что каждый человек должен видеть солнце. Мешает этому не тьма, добавлял он, а лишь тонкая полоска на глазах — неживая и безразличная, которую нужно просто оживить и сделать безразличной. Академик Филатов

лечил Сталина, благодаря этому факту и целела церковь святителя Димитрия Ростовского — храм греческого обряда вроде бы греками и построенный. Раньше храмы греческого обряда в основном разрушали, теперь реставрируют и строят новые. Греческих храмов полно, а греков как-то совсем не осталось.

Вася и Толя достали пылью и надрывным ревом шлифмашины не только людей, но и небо, оно разразилось громом и молнией. Гром, правда, был слабым, как будто кто-то вдалеке прыгнул на крышу гаража, а молния мелькнула пару раз скупым редисочным корнем. Дождь пришел тихо и уверенно, как шуршащая колонна велосипедистов из-за угла, листья от неожиданности заморгали листьями. На лесах и крыльце делать нечего. Мы вчетвером сидели под навесом возле склепа и курили. Из-под крыши склепа в цементное небо врезался мандельштамовский профиль голубя; он застыл, уткнувшись в пустоту перед собой обреченным взглядом, словно прозревая трагедию. На экране Васиного мобильного седой бородач с ворсистыми, как моя щетка, бакенбардами играл блюз, выжимая из гитары долгие завывания. Серега играл желваками. Притихший дождь играл на листьях «Пастораль» Баха. Вдруг Вася сказал, что у него день рождения. Через минуту мы с ним шли быстрым шагом по боковой аллее к северным воротам, там через дорогу божественный магазин, в котором высокие столики без стульев и бесподобные продавщицы — любительницы семечек. Я шагал чуть впереди, борясь с желанием бежать вприпрыжку и чувствуя на себе укоризненный взгляд Сергея. Пока закупались, дождь снова усилился. Всего двести метров до склепа, даже меньше — побежали! Путь к воротам преградил поток в гусиной коже.

— Ричка, шо наш Буг.

— Скорее, Стикс.

Говорят, что на берегу Стикса пасмурно, и что там ожидают лодку, и что перевозчику еще и заплатить нужно (может, там и коммуналка). Оказывается, Стикс можно просто перепрыгнуть, ну, почти перепрыгнуть. Потом упасть, инстинктивно вытянув к небу руки с бутылками, а закуску все же пожертвовать реке. Потом смеяться, вернуться обратно в магазин и заново войти в эту же реку — уже спокойно, сняв вьетнамки, подкатав и так мокрые штаны и все же еще немного замочив их. Перейти Стикс, замочившись, — обычное же дело, тем более в наше время.

Выпили. Вася, переведа удивленный взгляд со смартфона на нас, сказал, что его по вайберу сын поздравил, Сашка. Когда уезжал на войну, Сашка еще не умел говорить, а теперь... Шо? Как было на войне? Да стрьомно. Зато каждую неделю до дому посылки гонял: стиралку отослал, унитаз и афигительный дуб-

ляк, правда, с двумя дырами, но це вже такэ. А теперь, когда послал ту войну и отправился на заработки, сын не только говорит, но и пишет и даже по вайберу. Шо ему ответить? Может, стих написать? Я нашелся:

— Напиши: мой Телемак, Троянская война...

— Кто?

А, да, Александр, поправился я. Мой Александр, война не завершилась, кто победит — не знаю, должно быть, греки греков, столько мертвцов бессмысленно и беспощадно друг из друга могут сделать только греки...

Сергей усмехнулся, Толя открыл рот, Вася заплакал.

А вообще нормальный Вася был хлопец. Любил путешествовать. Следующей весной собирался ехать работать в Германию, в Мюнхен, там у него свояк работает. Меня звал. Там рай, да, реально райский сад — в Мюнхене самый красивый парк в мире. И работы там полно. Хотя вообще-то это не сам Мюнхен, а пригород — Дахау называется, но это все равно что Мюнхен и там тоже все нормально. Там тоже всегда полно работы, там порядок, там не кидают, разве что наши наших, менты не пытаются, там свобода, там ты не быдло и холоп, а обычный человек, там нет панов и магнатов, точнее, они есть, но все образованные, демократичные и гуманные, там острыми готическими ногтями тычут в давно успокоившееся толерантное небо длинные пальцы соборов.

Я сказал, что не хочу в навязчивый рай Дахау, где всегда много работы и свободы, не хочу быть обычным человеком, шурящимся на готический маникюр, боясь поранить глаза о резной декор. Я хочу быть быдлом и холопом на земле, где родился, где почти все такие же, как и я, быдло и холопы, особенно — паны и магнаты, где тоже скоро будет полно работы, как в райском Дахау. Я хочу женщину, похожую на Джулию Робертс, пойти наконец уже на море и чтобы Зоя прекратила меня презирать и доставать своим Хайдеггером с его окончательным решением основного философского вопроса.

Филипыч несколько раз брал меня копать. Неспешно вел меня к месту, осторожно раздвигая ветки, иногда останавливаясь и по-волчьи всматриваясь в стороны. Я вспоминал «Сталкер» Тарковского и, как в фильме, пытался насвистывать ту самую тему из «Страстей по Матфею». Потом Филипыч стоял у дерева, между его пыльными морщинистыми ботинками змеей вился поток — бесстыжий и настырный, как плохие стихи. Долго, обстоятельно застегивая ремень, сквозь зажимавшие сигарету зубы он обещал мне, что «Аякс» себя еще покажет — не для второго места команда. Кстати, о месте — он даже перестал застегиваться и оглянулся — если бы настоятель дал

разрешение на захоронение возле церкви, то штукатьрь можно было бы отбашлять. Штукарь! Скажи ему еще раз, а? Как не берет? Бере-ет. Если дает, значит, берет. Как кому давал — пожарникам давал. Как-то приходил один несколько раз — пузатый такой — пугал, говорил — закроем, Сталин не закрыл, а мы закроем — а потом как исчез. Просто так такие не исчезают. Тот пузатый говорил, что в церкви проблемы с эвакуацией: если пожар, люди побегут наверх, а потом из окон начнут кидаться. Потому что при пожаре человек бежит туда, где меньше огня, а это наверх. А когда бежать некуда и кругом огонь — человек выпрыгивает из окна. Вот помнишь, как тогда в мае в доме... Шо это ты побледнел так — хреново? Присядь. Чего? Хорошо, хорошо, не буду про пожар, все. Посиди, говорю. Точно нормально? Ну, пошли.

Дошли. Оказывается, прежде чем копать, участок нужно было очистить от камней, веток и черт знает чего еще. Он уперся ногой в соседнюю могилу и рассказывал об Афгане, где в начале восьмидесятых голыми руками сворачивал моджахедские шеи — вот это, короче, движение — и геть к Аллаху. Я копал, чувствуя спиной, как всматривается в меня небо сквозь листья раскаленным взглядом. Ад точно под землей, а не наоборот? Послышалось шипение от криваемой бутылки, у меня под ногами очутилась изогнутая жестяная крышечка. Филипыч запрокидывал голову, покрытый колючим инеем кадык жадно ходил насосным поршнем. Я продолжал копать, стоя к нему вспотевшей спиной, проклиная эти десять долларов, свою жадность, Персефону и небо. Я работаю для живых или для мертвых? Надо мной бородатый одноглазый моджахед, отрывивая и сплевывая, рычал нашим пацанам: или сжигаете комсомольские билеты и принимаете ислам, или голову на фиг и мясо шакалам. Я стоял внизу и выравнивал по углам и стеночке, как научил меня Филипыч. Выравнивал все, лег, тяжело дыша. Сверху доносился тихий звон колокола. Персефона — дура. Филипычу отрубили голову, мясо выбросили шакалам.

Потом как-то был бесхоз — почти полдня ушло: корни, кости — да-да, те самые кости, наши с вами. И это все? Это все, что остается после перехода за черту? Ага, сказал Филипыч. Все, сказал. Он добавил, что человек в конце всегда проигрывает, да, проигрывает человек, родился — значит проиграл. Проигрывают по-разному, но результат одинаковый. Одинаковый и безличный. Один на всех, как при коммунизме. Он не сказал, как быть с вопросом отчуждения труда от результата и что считать результатом. Он не сказал, что еще остаются глохнувшие удары земли о крышку, серьезные планы, гигабайты личного и скачанного, жилплощадь, страница с пошлой аватаркой, необдуманные комменты по поводу заявления

Собскач и формулы Штайнмайера, дети, мысли о богооставленности и перспективах токсического цирроза, непогашенные кредиты, прочитанные книги, иступленная вонь и сонаты Баха.

Филипыч уговаривал меня остаться на кладбище после того, как я закончу работу в церкви. Человек, сказал, я подходящий, здесь мне самое место. Ну да, усмехался я, с такой-то жизнью. Но зачем я здесь нужен — тут же почти не копают.

— Здесь поднимают не на рытье, а на новых памятниках. — Он забегал глазами, откручивая пробку.

— Если нет новых захоронений, какие памятники?

— Те, которые взамен старых — разбитых.

— А как памятник может разбиться? Если только специально, но кому это надо?

Он посмотрел на меня долгим жалостливым взглядом, я все понял.

Филипыч много рассказывал мне о своей жизни. После Афгана пошел опером в милицию, но вскоре уволился: гнилая тема — чисто гестапо. Потом слесарем в онкодиспансере работал, там получше было, но не срослось. После онкодиспансера — на кладбище. Здесь и остался насовсем. Рассказал о жене. Ему пятьдесят восемь, ей тридцать четыре — огонь, хочет постоянно, и это нелегко, но они трудятся, главное труд, процесс, а результат — ничто. А у тебя? А у меня Зоя. Ух ты, красивое имя, редкое, шо оно, кстати, означает? Обвинительница, зачем-то соврал я, переваривая его очередную мысль о том, что результат — ничто, и пытаюсь понять, как я отношусь к бернштейнианству в сексе.

— И что Зоя? — спросил он. Глаза сверкнули, в них — ожидание соленых историй, которых ко-онечно же было с гаком.

— Зоя мне перед сном читает Бодрийяра и всех этих, которых я не понимаю и не люблю, — сказал я, решив, что ревизионизм для сексуальной жизни — это, конечно, ужас.

— Зачем она это делает?

Я мигом оставил мысли о Бернштейне и Каутском заодно, повернул голову к малиновым языкам заката, вздохнул. Он еще раз переспросил — зачем? Как зачем? Потому что презирает, не может не презирать. Потому что нельзя не презирать человека, который из кабинета спустился на стройку и стал чернорабочим, уклонистом и алкоголиком и роман которого никто не хочет печатать из-за якобы непристойностей, которых там и отдаленно нет. Ладно, есть там непристойности, но дело же не в них, а в проблематизации этического измерения онтологии. Все дело в этике, а та сцена с тройным анальным проникновением — это же просто метафора адорновской критики позитивной диалектики Гегеля, этого скучного, надутого индюком, уставшего, как бесчеловечный толстовский

дуб, сухаря Гегеля с вызывающим мгновенную тоску выцветшим и потрескавшимся от крупных дыслей лицом, с этим его жутким лицом, похожим на вздутой, покоренное, хорошо, но не полностью отмытое от въевшейся ржавчины днище старого, пугающе прочного, почти бессмертного корыта; этого соблазненно-Прометеем Гегеля, который и хотел было укротить гераклитовский диалектический огонь и подчинить его людям, да только огня в итоге стало еще больше.

Пока я счищал старую штукатурку на нижних ярусах и втирал валиком грунтовую смесь, Сергей начал шпаклевать верхнюю часть стены. Пытался и меня научить. Учил готовить идеальный раствор шпаклевки, потому что мой раствор — это полный холыймис, а не раствор. Идеальный — это у Платона, бурчал я, он цыкал, закатывал глаза и продолжал: самое главное — это идеально наносить идеальный раствор.

— Смотри, подхватываешь самым краем шпателя и плавно, размашисто так — в-вот та-ак. — Его губы сжимались, подбородок вытягивался острием штыковой лопаты. — Тут главное ритм и плавность.

У него действительно получалось плавно, размашисто и красиво. У меня выходило жутко — вы-вы-воттах-х. Я пробовал еще, тоже сжимал губы и подбородок также вытягивал — далека-далека — не помогало. Он говорил, что нужно просто захотеть, и все получится. Но только очень захотеть — так, что бы душу за это готов был отдать. За это можно, за это незорно. Ну да, как Фауст, сказал я и вспомнил дедушку Сергея — Моисея Давидовича. Это он нам, первоклассникам в милых синих пиджачках, впервые рассказал историю о докторе Фаусте, он очень любил Гете. Мы, сверкая глазами и октябрятскими значками, сидели на неудобном диване и, открыв рты, слушали. На готических часах медленно раскачивался маятник, на полках ампириного книжного шкафа спали старые серьезные книги, из похожей на конструктивистское здание радиолы дореволюционный голос скрипел о том, что весь род людской чтит один кумир свяще-е-эээ-энный. Из трехлитровой банки на застеленном газетой с орденами подоконнике за нами наблюдал гриб, напоминавший медузу. Учитывая то, что дед Сергея был врачом-физиологом, мысли о гомункуле при взгляде на гриб-медузу, теснившуюся за стеклом в легких солнечных наплывах, возникали сами собой. Еще думалось о том, что пятно на щеке Моисея Давидовича напоминает какой-то архипелаг. Он очень любил Гете, внука и свой запорожец, тот тоже был аккуратный, серьезный, подтянутый, радиаторная решетка напоминала морщинистый лоб хозяина. Дедушка рассказал нам о Фрейде, Марксе и Гегеле. Говорил, что марксизм нужно объединить с фрейдизмом и почистить от рационального синтеза Гегеля, а

вместо Гегеля нужно добавить больше Спинозы, хотя бы Спинозы, не говоря уже о Канте, хотя Кант, прибавленный к Марксу, — это вроде как ревизионизм, но это особая тема. Моисей Давидович родился в бедной семье, учился в Варшаве и Вене, жил в Германии. Поверил Ленину и приехал в Союз. Говорил, что сталинизма, конечно, не ожидал, но при Гитлере у него шансов было бы еще меньше. Прошел всю войну врачом, потерял всех родственников. После войны попал под кампанию борьбы с безродными космополитами Денег, которые он потратил на конфеты маленьким дворовым оболтусам, хватило бы, наверное, на еще одну машину. И ни тебе депрессий, ни алкоголя, ни сигарет даже. Высокий и широкоплечий, он выходил из парадного во двор медленно и величественно, как священник, как патриарх. Его словно купленное недавно — на самом деле в середине пятидесятых — габардиновое пальто развевалось, как ряса. К дедушке тут же сбегались маленькие балбесы, моментально утихомириваясь и не по-детски спокойно и организованно принимая традиционные конфеты. Дав конфету, он трепал нацепившего благообразие волчонка по головке — легко, неспешно, едва касаясь. Что-то от литургического действия было в этой детской утихомирности, в конфетах, подаваемых в сложенные крестообразно ладони, и легком касании волос будущих продавщиц, риелторов, охранников, укладчиц, стропальщиков, арматурщиков, бомбил и прочих официально неоформленных рабов божьих. К советской власти дедушка относился сложно. Советы, говорил, это прекрасно, но только без руководящей роли партии, и вообще поменьше бы платформизма, вот как в Германии в начале двадцатых. Родители Сергея относились к власти Советов проще — ненавидели и хотели уехать. Но с перестройкой это желание как-то притупилось, да и дедушку не хотели оставлять одного. Уехали уже в середине девяностых сразу после смерти Моисея Давидовича. А он все никак не хотел уезжать, даже несмотря на нищенскую пенсию, преступность и эти постоянные отключения света. Он и умирал, когда было очередное многочасовое отключение. В его комнате зажгли несколько свечей, но их света дедушке было мало, ему хотелось больше, больше света. Он очень любил Гете. Вместе с дедушкой умер и его запорожец. Запылившиеся радиаторные морщины будто разгладились, машина ушла в себя, осела, подсохла и начала ржаветь.

Я наконец узнал тайну женщины, похожей на Джулию Робертс, она оказалась... Как сказать-то — нищенка? Не совсем оно. Попрошайка? Жуткое слово, еще хуже нищенки, но это, пожалуй, ближе. Может, просящая? Она действовала, так сказать, адресно: подходила со своим малышом к посетителям (скор-

блящим), размазисто крестилась, складывала ладони у живота и просила помочь кто чем может, господи. Работало безотказно. Ее завали Светлана. А прозвище, сказали мужики, Светка Саморез. Точнее — Самореззз, три последние «з» — обязательно. Попросил мужиков избавить меня от объяснений причин возникновения такого прозвища, но они, несмотря на мои почти грозные возражения, наперебой принялись рассказывать мне о ней все самое важное во всех сочных и жирных подробностях, идиоты. И я идиот. Потому что смеялся. Самое глупое, что смеялся громко и искренне. Сказали, что любит внутривенно, а пьет все, что нальют. Она сама со мной познакомилась. Сына не было, был коньяк. Ушли вглубь. Она неспешно двигалась впереди в ползущих солнечных чешуйках. Одной рукой раздвигала ветки, другой приподнимала край безразмерного своего платья так, будто держала поводья, длинные такие поводья. Ее остроугольная тень плыла сбоку, переламываясь об ограды и могильные камни. Я шел сзади, пошатываясь, и думал о том, какой из греческих богинь подошла бы ее фигура. Афродите? Нет, Артемиде, Артемиде — стрелолюбивой деве, что через Смирну несется в своей всезлатой колеснице. Не хватает только туники, лука и еще чего-то важного, забыл, чего именно. А может, это моя Эвридика, и теперь нужно ее отсюда забрать, только не оглядываться, и пошла эта моя Зоя с ее альбомами репродукций великих художников, ленинградскими поэтами и изумительным презрением.

Зашли далеко. Разлили. Сигареты, пальцы, губы, прикосновения. Тянула нескончаемое платье свое вверх, как невод. Рыбины обвили и заскользили. Костяшки пальцев, прилипших к ограде, побелели. У нее не было нескольких боковых зубов с разных сторон, но было уже все равно. Косынка сползла, волосы были почти полностью седыми. Мгновенно откуда-то всплыло и медленно утонуло смешанное чувство тоски и обманутости. Почему на мужчин так действуют седые женские волосы? Почему женщины седеют раньше? Почему она их не покрасит? Потому что так нечестно, сказала она потом, словно услышала мой вопрос о волосах. А здесь все должно быть честно.

Никакой могилы мужа-командора не было. Муж был жив и здоров, много пил и лежал дома. Точнее, муж был как раз не здоров, но пил много и лежал дома. А на кладбище вместе с родителями лежал брат Светы. После его похорон год назад она потеряла работу — так получилось. Стала ходить сюда. Так и прижилась. Брат погиб с четырьмя десятками других людей в здании на главной площади главного южного города в начале мая прошлого года; многие из них, кстати, здесь и лежат. Групповое самосожжение.

А вот про похожего на старого профессора человека в ермолке я так ничего и не понял. Получалось, что никто, кроме меня, его словно и не видел. Ясно было только то, что он очень похож на легендарного офтальмолога Филатова. Бомж Леха, осторожно взяв двумя вытянутыми пальцами стрельнутую у меня очередную сижку, рассказал, что по ночам призрак академика Филатова бродит по кладбищу и охотится за теми, кто осмелился зайти сюда, и что ему, как главному здесь, помогают другие мертвые — пугают и загоняют на встречу. Сам академик весь в черной земле, с жилистыми, как корни, руками и ногами, с железными пальцами и лицом, с длиннющими такими веками, опущенными до земли. И что встретившего его скорее всего ждет смерть либо слепота. Но это ночью, а днем призраки спят, это же даже дети знают. Но и по ночам никаких призраков не было. Ночью все спит: леса, скребок, перфоратор, банки из-под краски, пустые водочные бутылки возле скамейки у склепа, закуренные до самого фильтра бесконечные окурки, нагло присосавшееся к мусорному контейнеру и растущее с каждым днем пятно от вышедших с переработанным пивом решительных мыслей, бюст то ли Гомера, то ли Сенеки в зале, могилы и на них цветы с переломанными стеблями, деревья, грехи, стихи и добро со злом. Мертвые тоже спят. Они не курят, не шкрябают, не бесят этим адским перфоратором, не курочат бесхозные могилы, не копают метр на метр и не опускают колом, не фальшивят надсадно всем краснолицым оркестром. Не «тыкают» и не матерятся с первой фразы, поднявшись над условностями на чудотворных милицейских погонах, не светят фонариком в глаза, не спрашивают фамилию, пол, место-число-цель рождения, глядя в паспорт, и, сплевывая, не возвращают его, но не потому что все по закону, а потому что все по-доброму, добро везде и зла не хватает. Мертвые не произносят прощальные речи, сбиваясь с одного языка на другой, не надевают на себя вечером траурные венки и не танцуют в них, не пишут на могильных камнях, что будут любить вечно, никогда не забудут, не простят, и не оставляют корявых аэрозольных «бендеровцев», «калорадов», свастики и звезд Давида. Мертвые не думают о том, как бы заняться любовью с гранитным женоподобным ангелом, не поливают тонкой струйкой ограды, осторожно приподняв края рубахи, не обвиняют во всех грехах тех бедных Гераклита с Гегелем, не хлопают глупо ресницами и не каменеют, переводя взгляд с ее счастливой улыбки на тест с двумя полосками, не врут, икая и медленно раскачиваясь в клубах дыма на кухонной табуретке, что их рыжеволосая женщина изменяет им с тремя неграми одновременно, дрянь такая. Мертвые не ремонтируют, не чувствуют вину, не выкрикивают бодрые лозунги, не прыгают из го-

рящих окон, не умирают. Мертвые спят, но, говорят, что когда-то проснутся.

Хоронили на кладбище по-прежнему мало, а вот отпевания в церкви проходили почти ежедневно, а то и несколько раз за день. Многолюдные процессии внизу, послушно обтекавшие леса, шуршали не по-летнему строгой обувью, жужжали мобильными деловыми переговорами, сверкали крестами, лысынами, смартфонами и похожими на новенькие струнные инструменты дорогими гробами. Покойники в основном были пожилые, с лицами морщинистыми, как карпатский рельеф на спутниковых снимках. Один раз несли закрытый бархатно-красный гроб. Впереди шел седой мужчина в черном с фотографией улыбающегося веснушчатого парня. Фото в массивной раме было перечеркнуто широкой линией траурной ленты, взгляд мужчины перечеркнуло несчастье. Сбоку молча двигались офицеры командования с одинаковыми лицами-блинами, размывая листву крупнопиксельными камуфляжами. Рядом с гробом под руки вели совсем старенького дедулю в советской военной форме, звеневшей медалями. Застывшее лицо дедули было морщинисто и угрюмо, в глазах дотлевали угольки великих пожарищ. Возле него почти по-детски резво бегал полнощекий камуфлированный человек с папкой — краснолицый, круглый и с виду легкий, как воздушный шарик, готовый взлететь и поплыть по небу в поисках убежавших от жары облаков. Посматривая на дедулю, он высоким тонким голосом негромко пищал, что советскую символику нужно бы убрать: у нас декоммунизация, мы тут героя хороним, и вот на тебе — советская символика, непорядок, гляди, до самой столицы дойдет. И еще просил, что если речи говорить, то по-украински, пажалста, по-украински.

— По-русски не велено, свьше не велено. — Он пригибался и осторожно касался мягкими булочными пальцами груди.

Его голос совсем истончился и стих за углом церкви. Потом были слышны ружейные залпы, после них этот голос снова прорезался:

— Групповое фото, товарищи офицеры, групповое фото.

При чем здесь групповое фото? В голове возникли зернистые в пятнышках черно-белые фотографии бородачей с георгиевскими крестами и выбритых красных командиров с орденами-тарелками. Пугливые взгляды, густой запах гуталина от начищенных сапог, предчувствие гекатомбы. Потом вспомнил фото баскетбольной команды, где юный отец Николай победно держит в вытянутых над головой руках-ветках сияющий солнцем мяч. А на кладбище зачем групповое фото?

Когда участники рассыпавшейся процессии шли назад, ко мне уверенными стремительными шагами подошел маленький, с ровным белобрысым проборм мальчик в черном костюмчике и решительно протянул игрушечного солдатика в навороченном шлеме и с автоматом. Я подумал — дарит, стал было отнекиваться.

— Скажите рядовому Хигинсу, что писать здесь нельзя. — Сжав губы, малыш строго смотрел мне в глаза, в солнечном отсвете пробора резко выделялись искорки волос.

— Нельзя, — послушно промямлил я, опешив.

— Понял, Хигинс? — крикнул малыш, развернув игрушку к себе и замахнувшись ладошкой с оттопыренными пальчиками. — Еще раз посышь на кладбище, тоже у меня в котел отправишься.

— В котел? В адский?

— Да. — Прикрыв глаза, мальчик мелко закивал. — Папа говорит, что там реально ад.

На похоронах и отпеваниях часто находились люди, которые угощали нас чем-то. В основном это, конечно, были бабульки. Оказывается, они могут не только перетирать кости соседям на скамейках и ругать молодежь с властью. Оказывается, они могут быть неожиданно человечными. Запомнилась больше всего самая первая — низенькая, сухая, в жуткой болотной косынке; она протянула мне в кривых и крепких, как корни, пальцах кулечек вишни, консерву ананаса и бутылку водки:

— Держи, работяга, с хлопцами своими поделись. — В древесном скрипе голоса пронзительности было больше, чем в прощальной арии Дидоны, а в глазах открылось то, чему и имени не найду, да и не нужно.

Стояла и смотрела. Упрямая, терпеливая, как жизнь. Морщины словно вырезаны ножом, а глаза почти как у моей Зои — зеленые, несносные, хотя уже и утопленные в талом снегу прожитого. Смотрел то в них, то на бутылку, как дурачок. Морщины, глаза, бутылка, покачивающийся маятником кулек, консерва, непостижимость.

— Держи-держи, внучек. — Все еще стояла и терпеливо ждала, вы представляете?

Я взял, скомканно поблагодарил, полез наверх, вспоминая, где я что-то подобное видел. Сдирал старый грунт и вспоминал. Вишня, ананас... Ананас — вспомнил! «Назарин» Гальдоса, экранизированный Бунюэлем, там в самом конце эпизод. «Бог воздаст вам, сеньора!» Но я же не Назарин, скорее, уже наоборот. Вечером я напился в одиночку и плакал. Домой не пошел, там Зоя и ее изумительно маскируемое презрение. Остался, вечером пьяный смотрел на закат, с вызовом выплевывая вишневые косточки в сторону растекшегося персиковым пломбиром солнца. Спал

на лесах, снов и привидений не видел, проснулся ядреный, как июньская трава после дождя.

Бывало, угощали так, что было стыдно за весь род человеческий. Помню, один тучный тип с надутым лицом кукрыниксовского бюрократа отделился от процессии и сунул мне десять гривен — полпачки сигарет. Я взял, посмотрел ему вслед и тут же выкинул их, думаю, смотрелось красиво. Красивый жест — это когда красиво и правильно. Красивый жест дороже денег. Ничего, что никто не обратил внимания, настоящий жест — это для себя. Хотя девушка с надменно-хищным кошачьим взглядом незнакомки Крамского в туго обвязанном вокруг головки словно чужом платке должна была это заметить, я ощутил затылком жар глаз, обещавших ураганную страсть. Ладно, для этой ураганной незнакомки, честно говоря, я и старался. Когда процессия скрылась, смятая бумажка была подобрана и тщательно разглажена. Но не сразу, не сразу.

В похоронных процессиях всегда попадались красивые женщины. Не те, что убиты горем, горе съедает красоту. Красивые женщины на похоронах просто печальны. Это дальние родственницы, знакомые, сотрудницы. В отличие от злого горя, печаль и легкий траур красоту подчеркивают. И вроде все как положено — черные платки, молчание, вздохи. Но есть еще глаза. В горе у женщин глаза тяжелы и наполнены дождевым туманом. А в печали глаза могут вдруг встрепенуться, как непоседливые воробьи, развеив неудобные мысли о конечности всего живого. Взгляды способны полететь совсем не в сторону движения процессии, пронестись несколько раз между ветками и понурыми головами, вернуться обратно и испуганно застыть на потрескавшемся асфальте. Еще есть плечи. Остроугольные и загорелые, как на древнеегипетских фресках, или покатые и бледные, как у пустоглазых античных статуй. И конечно же, еще есть то, что скрывает одежда, потому что скрываемое относится к миру воды — ее символ. Мягкий, небольшой. Улитка. Моллюск. Мягкая двойная обволакивающая «эль». Обволакивающая и впускающая. Для этого символа есть и другие слова и буквы, самая сильная из этих букв — «з». Резкая, зудящая и зубастая. Как разинутый звериный рот, как отверстие от разрывной пули, как резкие очертания на карте границ страны, границ, которые уже изменились, иногда кровоточат и скорее всего не восстановятся. Границы, плечи, глаза, губы, сжатые черным зыбкие всхолмья. Вот как у нее — у той, которая только что сумочку поправила и вздохнула так, что дыхание остановилось. «Склонясь, раскрой в дрожаньи белой груди два нежные холма. Пускай вокруг...» Это бабы специально так делают, чтобы они выпирали, — трусики туда подсовывают, перебил Аркан, смотря туда, куда и я. Главное, что-

бы трусики были одинакового цвета и грязные и... На самом деле он сказал «труханы» и «обосранные», а сидевший рядом Толя зашелся своим каркающим смехом и тут же зачем-то начал про носки, которые «смэрдять, як то пэкло». Зачем это они, в самом деле? Испортили все.

Еще — очень редко, к счастью, — здесь появлялись люди из прошлой жизни, которых я видеть совсем не хотел. Это те, у кого все нормально и схвачено, у них всегда все нормально и схвачено. Здесь они по делам, пусть умирают другие, им не до этого, нужно решать дела. Они первые тянут широко открытую ладонь (другая сжимает ручку портфеля), улыбаются. Ты? Ты как здесь? Помогаете, ага-ага. По сокращению? Ага. Слышал что-то. Редакторшу послал? На целых три красноголовых?! Ха-ха-ха, ну ты даешь. И как тебе здесь? И дальше что? Амор фати, говоришь? Я-асно.

Ты им что-то объясняешь, по сути оправдываясь, но этого можно уже не делать, потому что они уже решили эту прелюбопытную, но совсем нетрудную задачу в твоём лице. Не задачу — задачку. Соблюдая ритуал, ты продолжаешь выбрасывать слова. Скоро это закончится, еще несколько предложений, они не перебивают. Они сочувственно кивают, ощущая внешне запнутую озабоченность по поводу своей обуви, ногтей, часов и, конечно же, мобильных. С обувью и ногтями все как всегда у них в порядке, на часы долго не помотришь, а вот мобильник — это как раз то, что может скоротать те полминуты, что мне остались договорить. Они смотрят в смартфоны, продолжая кивать. Они не просто кивают, они помогают побыстрее завершить взаимную экзекуцию. Они в общем-то неплохие, идут в ногу со временем, из которого я как раз выбыл. Все, закончил? Ну, лады, старик, рад был видеть, рассказать кому — не поверят, возьми вот полтинник, возьми-возьми, напейся со своими пролами и захлебнись кровавой рвотой.

Еще на похоронах и отпеваниях всегда бывают сотрудники похоронных фирм — парни в черных одеждах и белых перчатках с не по-летнему хмурыми и холодными, как из морозильной камеры, лицами. Ангелы смерти. Это я раньше думал, что они всегда такие серьезные и особенные, поэтому и выбрали такую работу. Все оказалось банальнее, просто они всегда с перепоя, а работу такую выбрали, потому что делать особенно ничего не надо: час стояния с унылыми алкогольными своими рожами — и получили столько же, как я за день мучений на лесах. Другое дело, что работа нестабильная и непредсказуемая — день на день не приходится. Сами себя они называют сносчиками. «Мы только со сноса», «завтра я на сносе». Снос. Слово ассоциировалось скорее с бережностью, чем с похоронными делами, но потом

привык. Сносчики забирают труп из морга, где до их приезда делают самое главное — убирают с лица это удивленное, растерянное и оглушенное выражение, в котором отражается мгновенное осознание отрешенной грубости миропорядка, последняя попытка понять, есть ли что-то после физики, и вспышка того, о чем часто думал и что оказалось таким простым, незаметным и совсем другим. Это уже в морге лицу придают ту самую коробящую своей неизъяснимой живостью бесстрастность. В морге сносчики укладывают тело в гроб. Если размеры не совпадают, а так бывает нередко, в ход идет дежурная монтировка, вместо хруста раздается щелканье. Чтобы голова не качалась во время процессии, подбородок приклеивают к шее, клей всегда под рукой. Сносчики обычно называют их просто жмурами. В бусике, когда родных нет рядом, жмурам выписывают щелбаны, сыпят на них пепел (в самом конце аккуратно сдувают), бьют шокером, дают выпить (совсем чуть-чуть) из пластмассовых стаканчиков; на покойниках играют в карты, с ними фотографируются, а фотки потом нередко выставляют на страницах в соцсетях и даже иногда вывешивают на аватарках. После морга тело везут либо сразу на кладбище, либо во двор дома, где жил усопший, либо — такое тоже бывает нередко — на квартиру покойного. Больше всего сносчики не любят квартиры на последних этажах панельных домов с неработающим лифтом. Перед тем как двери бусика открываются, старший группы традиционно напоминает: лица и телефоны переводим в скорбящий режим, джентльмены. Перевели. Теперь эти лица вытянуты и печальны, как у кладбищенских собак. Под глазами пыльные овраги складок; волосы, идущие от далеких и неровных, как побережье Аляски, боковых проборов, нещадно прилизаны, тускло блестят и напоминают замерзшие на пирсе волны со свисающими остроконечными сосульями. Смерть не страшна, страшны сносчики. Чуть ли не единственным исключением из них был Коля. Пунцовощекий, светловолосый, бочкотелый, — в детстве, наверное, был похож на Купидона. Сбитые кулаки, толстенная шея, рыжеволосые мясистые в ультрасовских татуажах руки, — Купидоны тоже мужают и превращаются в ультрас. Я знал его несколько лет. Пил он много и должно, говорил тоже много, выхватывая на лету слова и темы, перебивал, много смеялся. Его было всегда много, избыточно много, поэтому, видимо, и стал околфутбольщиком. Любил махачи, бату, Everlast (и тот и другой) и Бормана — своего старого толстеного короткошерстного кота с торчащим из разорванной губы клыком. Черные рубаха-брюки-туфли, которые он надевал на похоронную свою работу, казалось мне, плохо скрывали его яркую натуру. Может быть, тут дело было в этом кончике татуированного огненного языка дра-

гона, выглядывавшего из-за воротника рубахи. Коля гордился своими кожаными с насыщенным жирным блеском туфлями. Баркеры — Англия, дерби-стайл. Говорил, что у него самая лучшая из всех сносчиков обувь. Коля быстро влюблялся, быстро остывал, по-друг колотил. Еще Коля читал. Кинг, Паланик, Маккарти, Эллис, Селин. А вот русскую литературу не любил. Мы часто говорили о литературе, выпивая, мы постоянно с ним выпивали, когда виделись.

— Да не люблю я всю эту достоевщину. Сначала герой сжигает людей вместе с домом, а потом спасает из пожара кошку, — сказал он как-то, внимательно оглядывая начатую бутылку.

— Кота.

— То-то и оно, что кошку.

— Точно, кошку, но это не у Достоевского, а у Пушкина. А при чем здесь это? — не понял я логики и, наверное, нахмурил брови.

При том, сказал Коля. При том, что все это привело к ГУЛАГу, голодомору и миллионам смертей, и при том, что между русским миром и европейским человечеством лежит мертвая линия. Я отмахнулся, резко отмахнулся, — дело тут не в литературе, а в Гегеле, в этом надменном Гегеле — чванливом бездушном дундуке: и пишет он, как в лужу пердит, и взгляд у него, как у мертвецов — пустой и обращенный в себя, и вся его спасающая от огненного первоначала философия — мертвая линия... Я замолчал. Коля тоже молчал и смотрел на меня. Я вспомнил его слова про героя, сжигающего людей и спасающего кошку, после того как теплым майским вечером в здании на главной площади главного южного города сгорело четыре десятка человек. За несколько месяцев до того дня на площади был разбит палаточный городок. Полевая кухня, сцена, триколоры, двуглавые орлы. По периметру площади прохаживались люди в касках со щитами и телескопическими дубинками. Смотрели на меня с вопросом. Мужчина, вполне способный держать оружие, но делать этого явно не стремящийся. Не враг, но и не друг. Просто прохожий, посторонний, не желающий слышать зова истории. В такое время не может быть посторонних, посторонний хуже врага. Я, живущий напротив и появлявшийся здесь каждый день, воспринимал их как непрошенных диких пришельцев, варваров, как то, что раздражает, что должно исчезнуть, — поскорее бы, и если кто-то этому поможет физической силой, то так тому и быть. Шуты, глупцы. Пусть их изгонят с позором с их палатками, флагами и пошло эксплуатируемыми советскими песнями. Сделай так, о Зевс. И тогда все будет как раньше, как было, как до грехопадения Прометей. И вот пришли те, кто жаждал их изгнать.

Поначалу это казалось чуть ли не игрой. Люди, идущие на площадь в балаклавах, издали выгля-

дели нелепо суетливыми и чем-то напоминали муравьев. Просто люди, просто много, просто суетятся — ничего экстраординарного. Почти как на старых хроникальных лентах, где смешные человечки в несуразных картузах, косоворотках или солдатских шинелях судорожно передвигаются в убыстренном темпе, совершая непонятные бессмысленные действия на фоне кипящих знамен с корявыми вылинявшими буквами. Обычные незлые люди, действующие по воле равнодушного трещащего киноаппарата. Суета, скуотища. Что могли серьезного и злого сделать эти черно-белые немые почти обезличенные недотепы на старой кинохронике, кроме как со всех сторон с детским любопытством облепить почти бутафорский корабль, вагон или броневик, словно муравьи мертвого жука. Ну или потыкать полуигрушечными ружьями со штыками в соломенное пугало. Но люди иногда выходят из-под власти всеблагого киномеханизма. И непонятно, где граница перехода. И поэтому на главной площади главного южного города слышались хлопки, а по небу размазались снопы дыма. Потом из окон скучного строгого здания с коринфскими колоннами начали расти лепестки пламени. Эти лепестки так хотели соединиться с заходящим солнцем и родить что-то новое. Может, любовь? Но Афродиту рождает вода. Огонь рождает все остальное: свет, своих и чужих, гимны героям бесстрашным, выпрыгивающих из дымящихся окон отступников и удивительно стойкий незабываемый запах паленого человеческого мяса. Огонь рождает широко раскрытые глаза и рты, сложенный из многих криков и звуков шум в ушах и пепел, который взлетает и опадает и опять влетает и все носится, черт возьми, носится и носится кругами, не желая улетать или останавливаться, точно что-то забыл и ищет и не может вспомнить, что именно забыл и вообще зачем он здесь и что он теперь такое. Огонь рождает событие. Это и есть событие? Если так, то смотри, это твой шанс узнать, как выглядит изнутри то, что другие увидят снаружи. Запоминай же подробности, вив ля патри!

Коля, безусловно, симпатизировал тем, кто шутовал, тем более что большинство из них были ультра-с. Как-то после отпевания я спросил его, был ли он тогда там.

— Нет, это был не я, я на маевке был. — Он метнул взгляд в сторону, поерзал им по могильным плитам, вдавил в туфли, маслянисто поблескивавшие на солнце. Всунул в губы дрожащую сигарету, подкуривая фильтр. Блин! Выбросил. Новую достал. Резко всосал огонек из зажигалки. Дым вышел быстро, но рассеиваться не спешил.

Он сказал, что это они сами себя, что произошла ошибка, провокация, несчастный случай, что это просто судьба, просто дерби-стайл, просто Фев жар-

коглазый засмотрелся на Персефону, просто Зевсу кто-то нажаловался, просто так нужно для еще рожденных потомков, которые гордые гимны напишут и в них вознесут всевечную славу героям. И никто никого не убивал. Никто не совершал преступления, не раскаялся, не простил, не хотел, не предвидел и ничему не научился. И никто не виноват: ни ты, ни я, ни пожарные, ни милиция, ни Вседержитель, тем более что у того есть алиби — он умер, а если нет — для него же хуже, посмотрим, как он там оправдывается. И что тот майский день — это граница, резко и намертво разделившая будущее и прошлое, к которому теперь нет возврата. Он молчал, продолжая накалять взглядом свои туфли, и без того достаточно измученные солнцем.

Зачем же так давить взглядом на обувь? Не нужно, она же может испортиться. А уж мне тем более не нужно. И таким как я — тоже, мы вообще не приделах. Возле наших фамилий в гугле поисковик не дописывает «убийца», «предатель» и «мессия». Нас нет в списках награжденных и преследуемых. Так что мы не выжигаем глазами обувь — нет причины. Мы не делаем зла, мы просто тянем свою ляжку, покорно залезая в автобусы и на строительные леса. Еще мы просто наблюдаем, задержав дыхание, как лепестки пламени тянутся сквозь коринфские колонны к заходящему солнцу (тянутся, впрочем, не совсем уверенно, даже где-то с опаской), и это так восхитительно, что хочется взять в руки лиру, вспоминая о столах Кассандры, Приамовых тщетных мольбах и огненном Трои закате. Мы не делаем зла, мы слишком скучны и банальны, разве зло таким бывает?

Лето раскаленным комом двигалось к своему зениту. Июль все накидывал и накидывал сверху горячие прозрачные одеяла. Я красил, вода неспешным валиком по стене. Стена была почти прохладной, она спасала от стрел Феба. Персефона, неужели тебе не осточертела эта жара? Тягучие капли краски падали с медленного валика, мысли в голове шевелились ленивыми аквариумными рыбками. Сейчас бы в кафе. Не в такое, как здесь через дорогу — с высокими столиками без стульев и с мухами на клейкой ленте, а в настоящее, которых вроде меньше не стало, но все они остались в прошлой жизни. Вспоминались времена, когда война и безработица существовали, как что-то далекое и теоретическое, а сидение за ноутбуком в кафе было чем-то самым обычным, недорогим и безгрешным, — в кафе с негромким лаунжем и приятным алюминиево-керамическим цоканьем, вайфаем, дымящимися чашками, пепельницами и зашифрованными тканью линиями бедер официанток. Линии расшифровывались тщательно; ответом были усталые взгляды: достал уже, сколько можно?

Линии уплывали к другим столикам, неся за собой вселенную из усталости, инстаграма, разочарований, телесериалов, радостей, бесконечных обманов и надежд. А за окнами тоже было полно красивых линий. Еще были скелеты рождающихся зданий. Там за торчащей арматурой сновали старыми городскими голубями замурзанные строители; мысль и взгляд за них не ухватывались, теперь мысли и взгляды не ухватываются за меня.

Мы закончили северную стену и разбирали леса, чтобы установить их потом на западной. Стойки с перепорками не хотели разъединяться и рвались с раздраженным сухим треском, оставляя друг на друге ржавое мясо. Брусья и перекладины вырывались из рук и падали на асфальт с глухим стоном. Конструкция рушилась быстро и шумно, как многонациональная империя. Все распадается, но вскоре вновь соберется на новом диалектическом витке — на западной стене. Непонятно только зачем, если зимой все посыпется? За нашей работой наблюдало злое раскошегаренное небо. Если там не осталось ничего живого, кто же с ненормальным постоянством его так накаляет? Идеи, что ли?

Одна из несущих вертикальных балок сначала никак не хотела выниматься из паза, а потом вдруг со скрипом накренилась и, падая, словно специально, задела высоковольтную линию, что вела к подстанции. Искра — казалось, выпущенная с самого неба, — с треском нырнула в контейнер, набитый доверху сухим мусором, и тот загорелся так неожиданно быстро, будто уже давно и с нетерпением ждал этого момента, сразу поднялся дым. Солнце подрагивало, облизуемое пламенем. Я тоже задрожал, в голове зашипело, закричало, зашумело. Закрыв уши руками, но звук не уходил, даже усилился. Стиснул зубы, отвернулся. Сердце било в глаза черными вспышками. В проеме северных ворот застыло оранжевое пятно обесточенного трамвая — видимо, наша авария оставила без электричества округу. Сергей вызывал кого-то по телефону. Я, пошатываясь, плелся к пятну за воротами. Люди толпились возле опустевшего вагона, который несуразно застыл между остановками, словно неожиданно потерял сознание от жары.

— Вы слышали, это же был взрыв, даже два, вон дым. Это им даром не пройдет.

— Кому?

— Россиянам, конечно же. Кто еще может нас бомбить?

— Та это укропы. Наверное, опять промахнулись на учениях.

Когда трамвай ожил и загудел своей электрической бодростью, пассажиры с понурыми головами, словно нехотя, принялись затаскивать себя внутрь вагона. Мимо меня по путям прошли, подпрыгивая и жестику-

лируя, двое пареньков лет двенадцати. Скейты, кепки, радость. Кофта с капюшоном у одного была стилизована под матросскую рубашу. Почти как катаевские Петя и Гаврик, когда они шли мимо кладбища на Ближние Мельницы — в страну теней, вдов в черных платках и сирот в заплатанных платьицах. Больше ста лет назад скакали они по трамвайным путям, справа были эти же еще не прокопченные временем низкорослые домики с избыточным бугристым слоем виноградной лозы, а слева из-за волохатых вязов выглядывал сверкавший купол церкви Димитрия Ростовского — храма греческого обряда, вроде греками же и построенного. Петя и Гаврик говорили не о грехах, а о матросе с «Потемкина». А греки в это время, наверное, сидя на ресторанной террасе в центре главного южного города, рассуждали о том, что готовит начавшийся век. Никаких цветастых жилеток и клюквенно-красных шапочек с черными кисточками, только хитоны. И кубки. Греки говорили, что век еще только родился, он еще младенец, но скоро, скоро он заявит о себе. Это будет век поэтов. И что больше не будет тотальной власти Зевса, Олимп сначала станет Конвентом, а потом и он отомрет, как буржуазный парламентаризм, и будут одни советы, и не будет вертикальной власти, все будет горизонтальное, равноправное и ситуативное, как ризома. А вообще, зачем он нужен — век двадцатый, если был век девятнадцатый?

Когда я вернулся, возле дымящегося контейнера уже стоял отец Николай — с кульком, одетый в мирское, только что пришел, наверное. Улыбался. Внимательнее нужно быть, молодые люди. Я сказал, что мы ни при чем, это сам Зевс послал молнию с неба, наверное, по стуку брата — многоименного сына Кронуса. Внимательнее, повторил он и добавил, что внимательным можно быть только внимая, а внимать можно только Богу единому, а мы слушаем разных богов, из-за этого и невнимательность, как у древних греков с их политеизмом. Напомнил по традиции про деда, размашисто перекрестил нас и зашел внутрь.

Начало августа, жара залезла под кожу и решила поселиться там, трава и листья выцвели и думают, что умерли. Я работаю на кладбище, реставрирую фасад церкви во имя Святого Димитрия, митрополита Ростовского. Хорошо работаю, говорят. Тело стало сухим и твердым. Жара достала, но я привык. Здесь тихо, шумят только строители, ну и дети из соседних домов иногда ненадолго забегают — в войнушки играют. Строителям шуметь можно и даже нужно — чтобы уважали. Детям тоже шуметь можно, мы тоже в войнушки играли, только у нас были красные и белые, а у них — укропы и сепары. Детей, впрочем, иногда беззлобно гонял Филиппыч. А потому шо прыдурки, — мы не знали, сколько орденов у вэлкаэсэм, а эти даже

слова такого не слышали. Маленькие? Ничего они не маленькие — полкладбища гондонами закидали, использованными, между прочим. Как это — не дети закидали, а кто — академик Филатов?

А вообще нормально на кладбище — постоянные подработки — пойдет, жить можно. Здесь относительно прохладно, деревья не пускают тяжелый дух гниющих водорослей, фруктов, мяса и плавящихся в пробках улиц. Здесь не достают суета, коммунальные долги, рост цен, очередная волна мобилизации, коррупция, агрессивные общественные активисты, крымнаш и крымнеих, Зоя со своим Бодрийяром и вообще жизнь. Здесь труд — тяжелый и проклятый, труд, который — рабство и смерть, который Сизифов, который после смерти Бога — единственное, что нам осталось, и никому мы его не отдадим. Поменьше читать и выпивать, побольше выпивать и трудиться. Меньше цветастых избыточных эпитетов, больше «туда», «сюдой» и другой профессиональной терминологии. Чтение, согласен, необходимо, как идея божества или чистое белье, но и без этого можно спокойно обойтись. Ну, не спокойно, но можно, хотя бы на время, обхожусь же.

А может, в самом деле, остаться здесь? И всю жизнь тут и работать. Привык уже. Ну, не полностью, конечно, но привыкну. Как привык вместе с тысячами других каждый день ходить по полосе брусчатки и потрескавшемуся непонятно отчего асфальту, отводя глаза от строгого официального здания с коринфскими колоннами, безжизненными окнами и постоянными цветами вокруг наспех сколоченной ограды. Так привыкает кровь бегать вокруг вырезанного куска мяса и нестись в расположенные поблизости печень, почки, школы, спорткомплекс, гипермаркет, военкомат и на вокзал, а от вокзала на маршрутке на кладбище. Ничего, что из окон вырезанного с мясом здания с колоннами и удаленной лепной советской символикой росли лепестки огня, валил дым и выпрыгивали люди. Так надо. Метастаза, да. Ее, слава Зевсу, вырезали, и теперь организм стал здоровым и сильным, как раньше, даже здоровее, — как у широкоплечих гранитных сверхлюдей на фасадах шпеевских храмов, и впереди только твердая почва, здоровая кровь и тысячелетие избранных. Что делать с мертвым зданием, правда, не совсем понятно, но времени впереди много — разберемся. В крайнем случае, можно построить на его месте победоносно уходящий в растерявшееся небо торгово-развлекательный суперкомплекс со сверкающей эмблемой «Мазерати» наверху.

Мы собирали леса на западной стене. Новая конструкция росла медленно, нехотя, со скрипом и постоянными сбоями, как гражданское общество в условиях патерналистского мироощущения. На то,

что получилось, а даже смотреть не хотелось, не то что лезть туда. Но лезть было нужно. После полудня западная часть церкви начинала медленно наполняться солнечным светом. Он возникал сверху кишащими пылью гильотинными лезвиями, они становились ярче, тяжелее и медленно приближались, обжигая. Там, откуда эти лезвия спускаются, кто-то есть? Не может при такой температуре там никого быть. Но кто же тогда тащит на самую высоту этот тяжеленный раскаленный блин? А главное — зачем, если завтра нужно будет делать эту же бессмысленную работу?

Чтобы закончить пораньше, нужно было раньше начинать. Я часто оставался на ночь, спал в подвале с хлопцами или прямо на лесах, даже не пристегиваясь страховкой, какая там уже страховка. Дома если и появлялся, то только чтобы переночевать, только чтобы не видеть, как Зоя показывает, что все нормально, не слышать ее ласкового щебетания о чем попало, кроме уже доставших меня Бланшо и Пруста, и не узнавать, что ей, оказывается, вдруг стало очень-очень интересно, что у меня там на кладбище. Если я просыпался дома, то уже в полшестого уходил, даже выбегал. Орфей шел в Аид за Эвридикой, Геракл — за Тесеем, я бежал к Аиду от Зои.

Под солнцем на лесах не отдохнешь, чтобы упасть в тень, приходилось спускаться. Я присаживался на землю под деревьями, курил и смотрел на могилы, представляя, что где-то есть пасмурная погода, отдых, холодное пиво и вечная жизнь. Смотрел и иногда разговаривал с ними: как там у вас, нормально? Сидеть на земле возле могил и разговаривать с ними, может быть, и глупо, но не утомительно, не противно и не страшно. Страшно вечно лезть на стену, особенно с тяжестью. Это и есть смерть, особенно если ты не военнопленный и добровольно приковываешь себя на цепь к ржавым балкам, потому что техника безопасности, как никак. И лезешь, закрывая глаза, а там тоже пожар — рыжие волосы Зои, которые никак не хотят заразить своим цветом листья и снова разлучить Деметру с дочерью. И продолжает жадно пылать солнце, и плавятся купола, и рот пересох, и Аид заждался Персефону, и «Аякс» сдул «ПСВ», и речи о рае, и надежды на плоть, и сны о зиме.

Вдирая скребок в упрямый слой старой штукатурки, повторял про себя сонные слова зауспокойной, где про вечную жизнь, что не будет там ни болезней, ни немощи, ни печали, ни воздыхания. Роста цен и коммунальных тарифов там тоже не будет, или они там растут по-божески, не так быстро? Хотя какой рост, там же идеи, они неизменны. А как насчет идеи похмельного ада? Или есть просто идея ада, а похмелье уже мы добавили? Что там все-таки за чертой, а? Что-то есть или вообще ничего? Если ничего, тогда это нормально, тогда это ничего, потому что к ниче-

го, конечно, вопросы есть, но их, по логике, должно быть меньше, чем к чему-то. С ничем справиться все-таки полегче, чем с чем-то. Если хоть что-то есть, сразу начинается телеология, движение, самоорганизация диссипативных систем, борьба за выживание, социальное неравенство, законы, похмелье, национальная идея, камни с неба, всеожожение, уклонизм, презрение Зои, кладбище и свист Тарковского. А если ничего там нет, то, может, будет когда-нибудь? Пусть там будет город. Стоящий вседневно и во всякое время. Небесный. Пробудившийся от трели дребезжащего столовым ящиком первого трамвая, полулежащий у воды на пляжах, облокотившийся лестницей и эстакадой о порт. Шурящийся на рассветное море, тянущий за этим прищуром уголки губ и поэтому улыбающийся, часто по привычке, когда улыбаться совсем уже осточертело. Там будет гигантская многострадальная лестница с родным излапанным памятником наверху, оперный, стадион и пусть уже даже Дом профсоюзов — только без темных безжизненных окон, этого убогого забора по периметру, сбитой лепнины с советской символикой и брошенных на брусчатку бодрых маков, которые так любят античные развалины. Город полулежит, обвитый плющом и кудряшками винограда, в руке наполненный красным кубок. Над ним принимают воздушные ванны чайки, скользят, невесомые, сплетаются и расплетаются, крылья развешаны недвижно, только слегка пожимают плечами. Волны невелики и ленивы, ветер ласкает, хочется курить. Город курит. Дым умывает глаза. Вокруг застыли в Матиссовом танце медные рассветные вакханки-лиманы, а дальше все застелила онемевшая степь, где звезд, цветов и снега больше, чем в любом раю. В этом городе не будет погромов со снегом из перьев над разбросанным испачканным бельем и торчащими из вспоротых брюх чемоданов кишками, Потемкинской трагедии с немым криком ужаса, заговора на маяке, казематов ЧК и гестапо. В нем не будет прочных, как историческая память, милицейских сейфов с аккуратно сложенными выцветшими папками, табельным железом, толстыми целлофановыми пакетами и старыми телефонными аппаратами, обмотанными проводами с проволочными бутонами на конце. Не будет онкодиспансера с его блеклым коридорным светом, с тусклыми морщинами и пузырями, печально глядящими с шелушащихся стен, вздутого линолеума и из свежевывмытых окон. В этом городе не будет очередей на историческую родину, майского очистительного огня, диалектического иконоклазма, легких людей с тяжелой судьбой, смерти и жизни тоже.

Иногда я бродил среди могил, читая эпитафии. Моряки, актеры, гимназисты, криминальные автори-

теты, военные. Взгляд постоянно цеплялся за могилу в виде большого расколотого надвое камня. Ануфриев — знакомая фамилия. Оказалось, это могила закончившего жизнь самоубийством сына моего бывшего руководителя кафедры. Точнее, руководителя моей бывшей кафедры: я с кафедры давно ушел, а почти столетний Ануфриев-старший продолжал руководить; что-то в этом есть, это почти чудо. Я часто разговаривал с обожавшими семечки золотозубыми продавщицами из станционного мини-маркета. Уходя от них, прощально салютовал бутылкой пива или кефира, — храни вас небо, благородные дамы (нередко путал «дам» с «донами»). Ответом был их традиционный кряхтяще-скрипящий смех, сразу напоминавший о моих чертовых лесах.

С Сергеем и плиточниками мы в основном сжиливали у склепа рядом с женоподобным ангелом. С рабочими из администрации кладбища мы обычно выпивали возле аллеи моряков — к зданию конторы близко, место тихое. Напротив нашей скамейки была кучка песка с широким, как воронка от разорвавшегося снаряда, углублением посередине. Возле этой кучи Филипыч оставлял всю в крупных ржавых отметилах узкую и очень грязную тачку; она всегда была опрокинута набок, повернута ко мне выпуклым днищем и выглядела непристойно, как убитая взрывом беременная лошадь, которую никак не закопают. Филипыч и Аркан сначала, как обычно, обсуждали футбол, пройдясь мимоходом по голландскому чемпионату, потом выясняли, кому же достанутся в конце концов доспехи Ахилла бесстрашного, и начинали кидать окурки в труп бедной погибшей от артобстрела лошадки или в могильные камни. Я находил их поведение циничным, пропускал в знак протеста стопку, а то и две, но молчал. А что говорить, такие уж они люди — лучшие годы на кладбище, что вы хотите. Один раз я вдруг понял, кого мне напоминает Аркан. Широкое, в лунных кратерах и расщелинах мясистое и неожиданно грустное лицо, известковые глаза, седая отросшая щетина. Не хватает только знаменитого шерстяного свитера с растянутым воротником.

— Хэмин — кто? — рассмеялся Аркан и прилепил свое окончание — это убогое и одновременно мощное слово из трех букв.

— Гуэй, — поправил я и тоже рассмеялся.

Он опять переспросил. В итоге прозвище, причем с его неприглядной оконцовкой, чуть не закрепилось за мной.

— Нашел с кем обсуждать такие имена, — усмеялся Сергей, когда я ему рассказал об этом.

Больше всех хохотала Зоя. Звонко, долго, закидывая голову, она так непревзойденно закидывает голову и смеется тоже. И Светка смеялась. Света. Призналась мне, что ей нравится Аркан, да и она ему реально

нравится, но вместе им не быть — между ними непродоходима просьба. Нет, дело не в муже, дело в брате, да, который погиб и который сейчас здесь. А жаль, Аркан — настоящий мужчина, брутальный, как волк. Рядом с ним клево, рядом с ним огонь, рядом с ним она чувствует себя женщиной. Просто Аркан говорит, что тогда в мае брат и те другие...

— Рядом с ни-им?! — чуть не взвизгнул я (на самом деле еще как взвизгнул — внезапно и бесновато, будто стартовавшая бормашина). — А ты знаешь, что он говорит о тебе, когда тебя нет рядом?!

— Когда меня нет рядом, он может говорить все что угодно. Когда меня нет рядом, он может меня даже душиТЬ.

Я зарос. Зоя сказала, что нужно побриться и уж точно — постричься. Я сказал, что у меня как у Авессалома — вся сила в волосах. Она рассмеялась и сказала, что сила... Нет, не так, сначала, слегка дернув плечами, прыснула смехом в чашку (она отпивала кофе) — получился этот сырой сопящий звук — сглотнула, успела слизнуть потекшее коричневое и, показывая длинную стройную шею, захохотала. А вот потом уже сказала, что сила в волосах была у Самсона, а у Авессалома была как раз совсем другая история, так что подстригись и помойся, в конце концов, от тебя воняет, любимый. Я сказал, что любимых любят, а не нюхают. Ушел в ванную, посмотрел в зеркало. Волосы и борода сваялись в выцветшую на солнце сухую августовскую траву, щелочки глаз наполнились красноватым закатом, под веками насупились грозовые тучи. Подаренная Филипычем бодрая тельняшка с жуткими мутными неотмывавшимися пятнами в самом низу вызывала желание зажмуриться и отвернуться.

В середине августа к нам пришел необычный гость. Брюки, стрелки, туфли, борсетка, аккуратный ежик, ртутный взгляд, губы скобкой. Ну, понятно. Непонятно только, что на кладбище может быть связано с национальной безопасностью?

— Вот, Алексей, — кивнул на ежика отец Николай.

Попросил способствовать, так сказать, работе гостя и то ли перекрестил нас совсем наскоро так, то ли махнул рукой, мол, разбирайтесь сами, не маленькие, дети мои.

Гость попросил проводить его на крышу. Неспешно шагая в жужжащем сумраке винтовой лестницы, он чиркал светом фонарика по ржавым водопроводным удавам и расщелинам в кирпиче. Что там интересно? Может, он просто бывший сантехник или каменщик? Поднявшись на крышу, ежик смазал взглядом стелющуюся за холмиками деревьев усыпанную солнечными осколками равнину моря и сразу уставился куда-то вниз. Кивнул — сам себе, вздохнул, попросил

показать места захоронения погибших в АТО. Пошли за Филипычем. Тот показал. Человек с ежиком сказал, что двадцать четвертого — в День независимости — все работы на кладбище отменяются.

— Ну во-от! — потянул я, стараясь скрыть радость.

— Как же так, начальник! — крикнул Филипыч с ненавистью и беспомощностью в голосе. — Пацанам семьи кормить нужно, здесь каждый день — это копейка! Твоему президенту кучерявому живых мало, так он за кладбище наше взялся?!

Ежик глянул на него быстро, немного со смущением, почти с сопереживанием, где-то с завистью.

— А почему вы думаете, что здесь должен появиться президент? Есть и другие, так сказать... официальные лица, — сказал ежик до неприличия неискренне, тут же замолчал и даже раскраснелся, махнув взгляд куда-то вниз.

Филипыч продолжал кричать, оголяя зубные бойницы, хватал сам себя за тельняшку, сверкал глазами, показывая пальцем-крючком куда-то в сторону. Ежик сказал, что очень даже нас понимает, но это не от него зависит и что двадцать четвертого здесь будут работать коллеги из столицы и нас сюда просто не пустят.

— Не пустят, да ты шо! А то мы не местные и не знаем, как сюда попасть! — разошелся Филипыч. — Нам триста лет твой шоколадный президент нужен. Мы если захотим, из могил здесь возникнем, да тут в войну партизаны прятались. Здесь у нас обманывали царя, Сталина, Гитлера, а ты — не пустят! Это там у вас начальник президент — клоун этот, а тут главный — академик Филатов, ты понял?!

Покричали, успокоились. Ну, не работаем — так не работаем. Официальные лица — так официальные лица. Уходя, ежик махнул рукой:

— Думаете, нам он сильно нужен — президент этот... — И дальше протащил злую хрипящую букву; букву, которую достало, которая тоже человек, которой тоже бывает стыдно, у которой и руки вроде бы по сравнению с другими не такие уж и грязные, а вымыть их все равно хочется, особенно после кладбища, а еще лучше — умыть.

Официальные лица. Вспомнились крупные планы трибун со старыми больными людьми на них. Лица-пеньки в грибных наростах, неживые серые шляпы и пальто с пылающими бантами. Усталые улыбки, усталые машущие ладошки, скорее не приветствия, но прощания. Товарищи Воротников, Зайков, Маслюков, Слюньков, Талызин... и другие официальные лица.

— Мне, если бы кто-то лет тридцать пять назад сказал, что я по ним скучать буду — в рожу бы харкнул. — Филипыч курил и смотрел на медово блестящий купол. — А теперь как вспоминаю их — слезы на-

ворачиваются. Они — смешные такие, далекие — нам махали с трибун, а все смеялись. Теперь вот досмеялись, аж до кладбища.

Сердце будто облили чем-то жгучим и разноцветным, ало-серым чем-то, стало сладко-горько. Вспоминали с ним потерянный рай с давящимися смехом, флагами и солнечным паром ноябрьскими демонстрантами, вкуснейшим во Вселенной мороженым, летящим в космос олимпийским мишкой, смешными коммунальными платежами, дружбой народов, юностью, бесконечной нежностью пейзажей, полуденным лучом в пельменной юшке, прямыми мыслями, высокими, как МГУ, идеалами, торжественным легковоспламеняющимся паркетом в строгих официальных зданиях и великим будущим. В этом раю не было заградотрядов, перемигивающихся в ночи вышек над заборами с колючей проволокой, пятой статьи, пражской весны, репрессивной психиатрии, Афгана, чурок, инакомыслящих и той драки ЦСКА с «Баффало Сейбрз» под конец встречи. Нет. Драка армейцев с баффаловскими клинками в конце матча все-таки была — да, славное рубилово! Домой не пошел, чтобы Зоя все не испортила.

Началась осень. На пляжах волны с собачьей надеждой на человеческое тепло остервенело лизали цемент обезлюдевших пирсов и ножки полегчавших топчанов. Город остывал, избавлялся от курортного мусора, запахов сгнивших фруктов, шашлычной блевотины и учился снова быть собой. Наша церковь постепенно молодеда, день становился короче. В пористых цементных сумерках я и коллеги смотрелись в измученном летом порванном тряпье как те, кто ушел из мира живых, однако еще не вступил в мир мертвых, кто еще в пути через разделяющий эти миры Стикс. Выходя за ворота кладбища, мы превращались в обычных создающих вечерний фон за долбанных жизнью работяг. У Коли случилась белая горячка, возле вокзала, вечером, когда на небе сражались темно-фиолетовый с ярко-розовым. У него, говорили, такое в последнее время случалось все чаще, но я видел впервые. Он упал на землю, извиваясь и крича, походя одновременно на истеричное дитя и корчащегося от боли зверя. Извивался и кричал. Никаких слов, просто звуки, которые невольно издает человек, чувствуя, что проигрывает, что превращается в другого, что совершил грехопадение, что горит, горит и единственный выход — это в окно и на небо.

Зоя сказала, что начала уставать от моей невзрачности и алкогольного рецидива, сказала, что лучше бы уж я вернулся к аптечным кодеиносодержащим препаратам. Я тоже устал. Часто, после того как Сергей уходил, я спускался с лесов, садился на доски, доста-

вал спрятанную бутылку и смотрел на следы заходящего солнца. Рваные закатные облака проглядывали сквозь вечерние могильные ограды, напоминая остывающие угли камина. Ничего я не устал, это Персефона устала, пора ей, пора, как и солнцу. Солнце и Персефона не вернутся обратно со стороны запада, они придут с востока. А мы? Мы после кладбища тоже придем с востока? Или это новая жизнь придет, а мы навсегда запад?

Налетел конец сентября, заскакал стаями серых и оранжевых листьев-воробьев по вымытому асфальту. Листья отец Николай попросил помочь убрать. Они бегали по кругу, носились с места на место, останавливаясь и снова срываясь, будто пытаясь разогнаться, чтобы взлететь, но ничего не получалось, и от этого почему-то становилось несказанно гадко. Только после дождя застыли и, скорбно шурша, были ссыпаны в черные мусорные кульки. День стал еще короче, карусели в парках затихли, улица пахла псиной. Коля порвал свои замечательные туфли, дерби-стайл. На новые и достойные денег не было, в кроссовках хронить нельзя, и он запил. Аякс проиграл Одиссею, но ахейцы кудреглавые продолжали осаждать Трою. Плиточники уехали, Персефона вернулась к мужу, Света куда-то пропала, Аркан, кстати, тоже, а мы с Сергеем в общем-то закончили, оставалось только разобрать леса. А, да, еще нужно было убрать за собой три кучи строительного мусора, напоминавших холмики из листьев, земли и снега. И уйти. Уходить не хотелось. Хотелось тереть, грунтовать, шпаклевать и красить эту стену, громыхать ведерком и врубать почем зря турбинку, чтобы всем мало не показалось. Еще больше хотелось курить, сидя на лесах, болтать ногами и смотреть на то, как несутся пьяные расхристанные облака, празднующая свободу от солнечной тирании. Скоро они столкнутся со свинцовым тоталитаризмом низкого зимнего неба, но сейчас это было не важно.

Леса разобрали за несколько часов. Это был уже не демонтаж, а обвал. Измученные продольные бруссы даже не давали дотронуться и решительно кидались вниз, поднимая пыль и гулко раскаляясь со своими прикипевшими вполне годными для дальнейшей эксплуатации поперечными детками. Сейчас это уже был просто ржавый мусор, новых лесов из него не соберешь. Я вытирал пот, тяжело дышал и яростно сплевывал, испытывая странную смесь восторга и режущей зависти: творения людские ведут себя достойнее своих жестоких и эгоистичных создателей. Вещи показывают, что они не рабы людей. Теперь обновленная, нежно-голубая церковь походила на спущенное со стапелей судно, готовое плыть по декабрьской метели, сыреть под апрельским дождем и гореть в майской... Нет, не нужно ничему в этом городе гореть,

особенно в мае. Тем более что к тому времени все посыпется.

В последний день работы было совсем немного. Проснулся неприлично рано, думал пройтись пешком, но почему-то получилось как обычно. Маршрутка, две остановки, все это заканчивается, а что будет дальше — неизвестно, должно быть, долгая счастливая жизнь. Вышел у осточертевшего и такого любимого сейчас остановочного павильона, облепленного этими милыми объявлениями. Куплю волосы, продам диван, упокою душу. Что? Упокою душу? Резко остановился, прошаркав тапкой. Пробежался глазами, еще раз — уже внимательнее. Показалось. Хмыкнул, крутанув головой. Упокою душу — идиот, главное, никому не говорить. Рассказал уже через несколько минут, смеялись все, даже промелькнувший вдалеке на дырчке Филипыч улыбнулся и махнул рукой. Мы не спеша, с какой-то нелепой осторожностью собрали кучи мусора под стеной и ссыпали их в контейнер. Сначала ссыпали напоминавшую лежалый снег штукатурку, потом те самые бодро шелкавшие под шпателем пластинки-листья, поверх всего — комья, похожие на земляные. Все. Потом приехал контейнеровоз, оттащил контейнер метров за двадцать — за могилы, чтобы не бросался в глаза. Но его все равно было видно, даже невооруженным взглядом. Только в этот контейнер и утыкался взгляд, когда четвертого октября я в толпе стоял возле церкви и ожидал приезда митрополита, который должен был провести литургию по случаю даты, ради которой я и работал пять месяцев. Вот он — дедлайн. Сверкающие на солнце нарукавники, посохи, запонки на галстуках, мобильники. Людей было много, и внутрь я не попал. А если честно, то не захотел. Потому что утром перед выходом посмотрел на себя в зеркало и увидел, что левое веко запало, как у Голиафа Караваджо, и не хотело становиться на место. Плюс так и не подстригся и не побрился. В общем, зрелище вызывало нелегкое чувство. Ну и запах еще, ага, после четырех дней. Когда все стали заходить внутрь храма на литургию, я еще раз взглянул на контейнер, развернулся и пошел к выходу через боковые ворота кладбища, про себя решив не оборачиваться. Уже подходя к воротам зачем-то обернулся — шею словно подрезали, в глазах вспыхнуло. Люди, развернувшись спиной ко мне, продолжали медленно заходить в церковь. Только один человек стоял ко мне лицом. Он махал мне рукой, прощаясь. Это был академик Филатов.

А контейнер так и остался, никто его не убрал, и горка похожих на землю черных комьев продолжала выглядывать. Потом эти комья сдуло, они превратились в птичьи клинья и исчезли за холмами туч. Слой, что лежал под комьями и походил на груду подсне-

женных листьев тополя, превратился в чаек, которые носились над пустокоонным Домом профсоюзов; от их неистовых криков становилось тесно и душно в груди, и взгляд пытался процарапать брусчатку, и шумело в ушах, и загорались волосы. А разбитая в мелкую белую крошку штукатурка, что я, проклиная небо, сдирал с колонн и карнизов, развеялась, видимо, только одним поздним вечером конца декабря, осев белыми нахлобучками на фонарях и сверкая искрами в конусах света.

Через три дня после чествования святителя Дмитрия Ростовского отец Николай умер, во сне умер, улыбался, говорили. Я неожиданно вернулся к кабинетной истории — работал в главной официальной газете главного южного города. Острые темы, непредвзятый подход, лютые заголовки: «Как живешь, департамент?», «Городская интеллигенция выбрала национальный курс», «Декоммунизация входит в переулки», «Депутаты горсовета осудили агрессивные планы сепаратистов». Подрабатывал, ушел на стройку. С моей скромной помощью в центре появились пафосные монолитно-каркасные акселераты, выросшие на месте каменных дореволюционных построек; те — когда-то ухоженные и важные — перед сносом своей обшарпанностью, выбитыми стеклами, бесконечными разномастными сорняками и обваланным в пуху голубиным воркованием напоминали одиноких стариков в глубокой деменции. Вместе с постройками бульдозеры сносили деревья и исхлестанные их ветками статуи богов и богинь с давно отбитыми луками, копьями, веслами, серпами и отбойными молотками. Да, так уж повелось, молодость всегда выше, авангарднее, наглее и знать не знает о былом.

Сергей работал вместе со мной. Коля купил новые туфли и продолжал делать скорбящее лицо. Его кот Борман умер. Коля принес домой котенка — черного, как сажа, с бурыми пятнами, словно шерсть опалили. Котенок был худющим, выглядел больным и вообще оказался кошечкой. Коля махнул рукой — пусть будет кошечка, выхожу и откормлю. Я ушел от Зои, просто вот взял и... Ладно, это Зоя ушла от меня. Бесшумно и быстро собралась и тихо закрыла дверь. Я понял все, когда посмотрел в окно и увидел, как она шла по промокшему асфальту все ускоряясь, почти бегом, пытаясь то ли убежать от дождя, то ли опередить слезы. Даже не объяснила мне ничего, оставив вместо письма качавшиеся над улицей ободранные осенью тополя.

Попал я на кладбище только в начале мая. Зашел не с центрального входа, а с северных ворот. На меня строго посмотрели две незнакомые псины, их морды

напоминали угрюмые лица Авиньонских девиц — тех, что справа. Шел медленно и тихо. Почти ничего за это время не изменилось, только возле памятного знака Ануфриеву появилась могила его отца — заведующего моей бывшей кафедрой, уже, выходит, бывшего заведующего. Из-за листьев медленно выплывала церковь. На наших стенах все гладко и чисто, словно вчера сдали. Этого не могло быть, но именно так и было. Я подошел поближе, смотрел на стены и почувствовал чей-то взгляд. Обернулся. Никого, если не считать надгробного бюста академика Филатова. Вышел хмурый человек в рясе, видимо, новый настоятель. Познакомились. Да, новый настоятель. Длинная совком борода, усища, суровый взгляд, сжатые губы, — он почему-то упорно напоминал Энгельса. Я спросил, где похоронили отца Николая.

— Да вот, — он показал рукой, — специально для него место возле церкви нашли. Он не хотел, чтобы здесь хоронили, но для него мы сделали исключение, да и по сану положено.

Могила отца Николая была там, где когда-то проходил бордюр и заканчивалось царство Аида — рядом с обрубленным словно под линейку мертвым кленом, на который я сейчас смотрел снизу вверх. Только клен уже не был мертвым, он ожил и уже немного изменился. Из веток-рук торчали молодые длинные растопыренные веточки-пальцы, обильно покрытые наточенными листочками. Теперь дерево напоминало человека с поднятыми руками. Руки подняты, но человек не сдается, человек радуется. Человек побеждает. Юный совсем человек — подросток. В его ладонях баскетбольным оранжевым мячом сияло солнце.